

Эдвард Джордж
БУЛЬВЕР-ЛИТТОН

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПОМПЕИ



Серия исторических романов

Эдвард Бульвер-Литтон
Последние дни Помпеи

«ВЕЧЕ»

1834

Бульвер-Литтон Э. Д.

Последние дни Помпеи / Э. Д. Бульвер-Литтон — «ВЕЧЕ»,
1834 — (Серия исторических романов)

ISBN 978-5-9533-5313-7

79 год н. э. Прекрасен и велик был римский город Помпеи. Его строили для радости, отдыха и любви. По легенде, город основал сам Геракл, чтобы праздновать у подножия Везувия свои многочисленные победы. Именно здесь молодой афинянин Главк обрел наконец свое счастье, встретив женщину, которую так долго искал. Но в тени взмывающих к небесам колонн и триумфальных арок таилась опасность. Арбак, потомок древних фараонов и верховный жрец культа Исида, ослеплен жгучей ревностью и жаждет мести. Под влиянием звезд, пророчащих ему некое страшное несчастье, египтянин решает уничтожить все, что было дорого его сердцу. Понимая, что времени остается мало, он приходит к мысли: если уж умирать, так, по крайней мере, взяв от жизни все. «Последние дни Помпеи» – это драматическая история одного из городов Великой Римской империи, улицы которого стали одной большой дорогой в вечность.

ISBN 978-5-9533-5313-7

© Бульвер-Литтон Э. Д., 1834

© ВЕЧЕ, 1834

Содержание

Об авторе	6
Часть первая	7
I. Два помпейских щеголя	7
II. Слепая цветочница и модная красавица. – Исповедь афинянина. – Читатель знакомится с египтянином Арбаком	9
III. История Главка. – Описание помпейских домов. – Классический пир	15
IV. Храм Исида. – Ее жрецы. – Характер Арбака выясняется	24
V. Опять о цветочнице. – Успехи любви	29
VI. Птицелов снова захватывает в свои сети ускользнувшую птицу и расставляет западню для новой жертвы	34
VII. Веселая жизнь помпейского кутилы. – Копия с римских бань в миниатюре	41
VIII. Арбак плутует в игре и выигрывает партию	47
Часть вторая	53
I. Подозрительный притон в Помпее и борцы классической арены	53
II. Два достойных мужа	58
III. Главк делает приобретение, которое впоследствии обходится ему дорого	61
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Эдвард Джорж Бульвер-Литтон

Последние дни Помпеи

© ООО «Издательство „Вече“», 2014

© ООО «Издательский дом „Вече“», 2011

© ООО «Издательство „Вече“», электронная версия, 2014

Об авторе

Эдвард Джордж Бульвер-Литтон, автор знаменитой фразы «Перо сильнее меча», родился 25 мая 1803 года в Лондоне. Он был третьим сыном генерала Уильяма Бульвера и Элизабет Литтон. Получив под руководством матери хорошее домашнее образование, Эдвард уже в юные годы был твердо убежден, что станет писателем. В 1822 году он поступил в Кембриджский университет, где прилежно изучал философию и античную литературу, а через три года получил университетскую награду за одну из своих поэм. По окончании учебы Эдвард женился вопреки желанию родителей и был лишен материнского пособия, а потому решил серьезно заняться литературной деятельностью.

Его ранние романы были основаны на уголовной тематике: «Пелэм, или Приключения джентльмена», «Пол Клиффорд» и другие. Все они имели успех. Популярность «Пелэма» в Европе была так велика, что даже А.С. Пушкин под впечатлением от этой книги собирался писать своего «Русского Пелама» (от этого замысла сохранилось лишь несколько развернутых планов). От чисто развлекательных романов Бульвер-Литтон вскоре перешел к серьезным историческим произведениям: «Последние дни Помпеи», «Пилигримы на Рейне», «Риенци, последний из римских трибунов». Первый из названных романов был написан под сильным впечатлением от знаменитой картины нашего соотечественника Карла Брюллова, которую писатель увидел на выставке в Милане. Книга в свою очередь тоже имела не меньший успех, чем полотно великого художника.

После нескольких лет супружеской жизни писатель, который очень ревниво относился к славе и много и самоотверженно работал, решает развестись с женой, препятствовавшей его литературной и политической карьере. А политика занимала Бульвер-Литтона не меньше, чем литература. В 1831 году он был избран в парламент и примкнул к партии вигов, часто выступая с резкой критикой аристократии, проявив себя как активный борец за либеральные реформы.

В 1841 году писатель решает оставить политику и вновь переключается на литературу. Сначала он пишет оккультно-эзотерический роман с элементами утопии «Занони», потом опять возвращается к чисто исторической тематике: «Последний барон», «Гарольд, последний из саксов» и другие. Бульвер-Литтон вновь добивается большого успеха, став модным светским автором. Его популярность уступает только Чарльзу Диккенсу, влияние которого отчетливо чувствуется во многих романах той поры. В 1858 году Бульвер-Литтон опять возвращается в политику и получает должность секретаря по делам колоний. Особый интерес на данном посту писатель проявил к Британской Колумбии. Заслуги его перед этой канадской колонией были высоко оценены: город у слияния рек Томпсон и Фрейзер был назван в честь министра Литтона. В 1866 году Бульвер-Литтон получает баронский титул и становится членом палаты лордов. В конце жизни писатель пробует себя в новом жанре – его роман «Грядущая раса» стал одним из первых больших произведений в еще не сформировавшемся направлении научной фантастики. Эдвард Бульвер-Литтон скончался 18 января 1873 года, оставив после себя 29 романов, три больших поэмы и три пьесы, прочно заняв свое место как в истории, так и в литературе.

Избранные произведения Э. Дж. Бульвер-Литтона:

«Пелэм» (Pelham, 1828)

«Пол Клиффорд» (Paul Clifford, 1830)

«Последние дни Помпеи» (The Last Days of Pompeii, 1834)

«Пилигримы на Рейне» (The Pilgrims of the Rhine, 1834)

«Занони» (Zanoni, 1842)

«Грядущая раса» (The Coming Race, 1871)

«Кенельм Чиллингли» (Kennelm Chillingly, 1873)

Часть первая

І. Два помпейских щеголя

– А, Диомед! Здравствуй! Надеюсь, ты будешь сегодня на ужине у Главка? – проговорил молодой человек небольшого роста, задрапированный в тунику, ниспадавшую небрежными, изящными складками, – по всему видно, человек знатного рода и записной франт.

– К сожалению, нет, любезный Клавдий. – Я не приглашен, – отвечал Диомед, дородный, уже пожилой мужчина. – Клянусь Поллуксом, – очень досадно! Ведь его ужины славятся самыми изысканными в Помпее!¹

– Пожалуй, это верно, хотя, по-моему, на них вина бывает маловато... Видно, в жилах Главка не течет чистая греческая кровь, так как он уверяет, будто ему от вина на другой день всегда грустно...

– Ну, на такое воздержание у него, вероятно, есть и другой резон, – заметил Диомед, подымая брови. – При всей своей кичливости и сумасбродстве, он, кажется, вовсе не так богат, как хочет казаться, и, может быть, в этом случае больше бережет свою амфору, чем настроение духа.

– Тем более есть причины ужинать у него, покуда он не истратит всех своих сестерций. В будущем году, Диомед, нам придется поискать себе другого Главка.

– Я слышал, он любит также игру в кости?

– Он пристрастен ко всем удовольствиям, а так как ему доставляет удовольствие давать ужины, то и мы все любим его.

– Га, га, Клавдий, недурно сказано! А кстати, видал ты мои погреба?

– Кажется, нет, мой добрый Диомед.

– Ну, так ты должен отужинать у меня как-нибудь на днях; у меня водится порядочный запас мурены² в садке, и я приглашу для компании Эдила Пансу.

– О, со мной, пожалуйста, без церемоний, – я и малым доволен. Однако смеркается; спешу в бани, а ты куда?

– К квестору, по государственному делу, а потом в храм Исиды. Vale!

– Хвастун, нахал, неуч! – проворчал про себя Клавдий, удаляясь тихими шагами. – Воображает, что своими пирами и винными погребами заставит нас позабыть, что он сын отпущенника. И в самом деле, мы забываем это, делая ему честь обыгрывать его. Эти богатые плебеи для нас, благородных мотов, сущий клад!

Рассуждая таким образом сам с собою, Клавдий вышел на дорогу Домициана, запруженную толпой гуляющих и экипажами и полную того веселого, суетливого оживления, какое в наше время представляют улицы Неаполя.

Колокольчики колесниц, быстро сновавших мимо, весело позвякивали в ушах Клавдия, и он беспрестанно приветствовал то улыбками, то фамильярными кивками своих знакомых в самых элегантных, причудливых экипажах. Во всей Помпее не было праздного жуира, более популярного.

– А, Клавдий! Хорошо ли ты спал после своего выигрыша? – крикнул ему приятным, звучным голосом молодой человек в колеснице самого пышного и изящного фасона.

Ее бронзовая обшивка украшалась искусно исполненными рельефными фигурами в греческом вкусе, представлявшими олимпийские игры. Кони, напряженные в колесницу, были

¹ Здесь и далее в переводе название римского города Помпеи (*мн. ч.*) дается в женском роде – Помпея. (*Примеч. ред.*).

² Минога.

редкой парфянской породы. Их стройные ноги как будто пренебрегали землей и рвались на воздух, однако при малейшем прикосновении возницы, стоявшего позади своего молодого господина, они останавливались как вкопанные, превращаясь в неподвижные, но дышащие жизнью, каменные изваяния Праксителя. Сам хозяин колесницы принадлежал к тому типу строгой, правильной красоты, которая служила образцом афинским скульпторам. Его греческое происхождение сказывалось в золотистых кудрях и безукоризненной гармонии черт. На нем не было тоги, со времени императоров переставшей служить принадлежностью римлян и даже подвергавшейся осмеянию со стороны представителей моды. Но его туника была из богатейшей, ярко окрашенной тирской ткани, а аграфы сверкали изумрудами. На шее его висела золотая цепь, заканчивавшаяся на груди змеиной головой, из пасти которой свешивался большой перстень с печатью, самой тонкой, художественной работы. Рукава у туники были широкие, отороченные у кисти золотой бахромой. Вокруг стана пояс из того же металла, испещренный арабесками, служил вместо карманов для платка, кошелька, кинжала и табличек.

– Дорогой Главк! – отвечал Клавдий. – Радуюсь, что твой проигрыш так мало повлиял на твоё настроение. Тебя как будто вдохновляет сам Аполлон. Лицо твоё так и сияет счастьем, – всякий принял бы тебя за выигравшего, а меня – за проигравшего.

– Да неужели же потеря или приобретение нескольких монет презренного металла может изменить настроение нашего духа, Клавдий? Клянусь Венерой, пока мы молоды, будем увенчивать свои кудри цветами. Пока цитра звучит в непресыщенных ушах, пока от улыбки Лидии или Хлои кровь наша быстрее течёт в жилах, до тех пор будем наслаждаться жизнью и солнцем! Седовласый, лысый старец Время постепенно похитит у нас все эти радости. Конечно, ты ужинаешь у меня сегодня?

– Кто же когда-нибудь забывает приглашение Главка!

– Куда ты теперь направляешься?

– Я думал зайти в бани, но до положенного времени остался ещё целый час.

– Хорошо же, так я отпущу свою колесницу и пройду с тобой. Ну что, Филиас, – промолвил он, глядя рукой ближайшую к нему лошадь, которая нагнула шею и игриво поводила ушами в знак признательности за ласку, – сегодня тебе праздник. Не правда ли, он красив, Клавдий?

– Достоин Феба, – отвечал благородный паразит, – или... Главка!

II. Слепая цветочница и модная красавица. – Исповедь афинянина. – Читатель знакомится с египтянином Арбаком

Весело беседуя между собой о различных предметах, молодые люди бродили по улицам. Они находились в квартале, наполненном самыми нарядными открытыми лавками, изукрашенными внутри фресками ярких, но гармонических оттенков и бесконечно разнообразных форм и рисунков. На каждом углу сверкающие фонтаны вскидывали вверх свои освежающие струи в жаркий воздух. Толпы прохожих, или, вернее, гуляющих, большей частью в одеждах тирского пурпура, веселые группы у каждой заманчивой лавки, рабы, снующие взад и вперед с бронзовыми кувшинами изящной формы на головах, деревенские девушки, стоявшие там и сям с корзинами румяных плодов или цветов, более любимых древними итальянцами, чем их потомками (последние точно воображают, что в каждой розе, в каждой фиалке скрывается какая-то зараза). Многочисленные места отдохновения, служившие для этого ленивого народа вместо нынешних кофеен и клубов. Лавки, где на мраморных полках стояли ряды ваз с вином и маслом и перед которыми сиденья, защищенные от солнца пурпуровыми навесами, манили усталых и ленивых прохожих отдохнуть, – все это составляло пеструю, оживленную картину, еще более располагавшую Главка наслаждаться радостями жизни.

– Не говори мне больше о Риме, – сказал он Клавдию. – Там удовольствия слишком чопорны и церемонны. Даже при дворе, даже в золотом доме Нерона и среди пышности дворца Тита есть что-то скучное в этой великолепии, – глазам больно, на душе тоскливо. Да и кроме того, Клавдий, мы всегда недовольны, сравнивая величавую роскошь и богатство других с посредственностью нашего собственного состояния. Зато здесь нам как-то привольно живется среди удовольствий. Мы пользуемся блеском роскоши, не подвергаясь ее скучным, утомительным церемониям.

– Так вот почему ты избрал себе летним местопребыванием Помпею?

– Именно. Я предпочитаю ее Байям. Согласен, что и Байи имеют свою прелесть, но не нравятся мне педанты, собирающиеся там: они как будто отвешивают себе удовольствия по драхмам.

– Однако ты тоже любишь ученых, а что касается поэзии, то дом твой – приют Эсхила, Гомера, эпического и драматического творчества.

– Да, но эти римляне, подражающие моим предкам, афинянам, делают это так тяжело-весно, неуклюже. Даже на охоту они заставляют рабов таскать за собой Платона, и, когда вепрь ускользнет, они принимают за свои книги и папирусы, чтобы не терять времени. Когда танцовщицы носятся перед ними во всей неге персидской грации, какой-нибудь негодяй-отпущенник читает им вслух главу из «De officiis» Цицерона. Неискусные фармацевты! Удовольствия и науки не такие элементы, чтобы смешивать их в одно, – ими надо наслаждаться в отдельности. А для римлян пропадает и то и другое, благодаря их скучной аффектации. Этим они только доказывают, что не имеют настоящего чувства ни к тому, ни к другому. О Клавдий, как мало твои соотечественники имеют понятия об истинном красноречии Перикла, об истинном очаровании Аспазии! На днях я посетил Плиния в его летней резиденции: он сидел и писал, между тем как несчастный раб играл на свирели. Его племянник (побить бы стоило таких хлыщей-философов) читал из Вукиада описание чумы и по временам кивал своей заносчивой головенкой в такт музыке, между тем как губы его бормотали омерзительные подробности ужасного очерка. Молокосос не находил ничего нелепого в том, чтобы слушать одновременно любовную песенку и читать описание чумы.

– Да ведь и то и другое почти одно и то же, – заметил Клавдий.

– Я так и сказал ему, но юноша задорно уставился на меня, не поняв шутки, и отвечал, что музыка тешит только внешний слух, между тем как книга (это описание чумы-то) возвышает сердце. «А! – проговорил его толстый дядюшка сиплым голосом. – Мой мальчик истый афинянин: те всегда соединяют полезное с приятным». О Минерва! Как же я посмеялся над ними исподтишка! Пока я был там, пришли доложить юному философу, что его любимый отпущенник умер от лихорадки. «Неумолимая смерть! – воскликнул он. – Подайте сюда моего Горация. Как прекрасодивный поэт утешает нас в подобных скорбях!» Способны ли такие люди любить, Клавдий? Как редко встретишь римлянина с сердцем! Он не более как гениальная машина во плоти!

Хотя Клавдия втайне немного уязвляли эти замечания о его соотечественниках, но он делал вид, как будто сочувствует своему приятелю, отчасти потому, что он по природе был паразит, отчасти же потому, что в то время среди кутящей римской молодежи было в моде отзывать с презрением о своем происхождении, которое в сущности и делало их такими заносчивыми. Считалось шиком подражать грекам и вместе с тем подтрунивать над своей несколько бестолковой подражательностью.

Разговаривая таким образом, они принуждены были остановиться, – им загородила путь толпа, собравшаяся на перекрестке трех улиц. Под тенью портика легкого, изящного храма стояла молодая девушка с корзиной цветов в правой руке и маленьким трехструнным инструментом – в левой. Она извлекала из него тихие, ласкающие звуки, аккомпанируя странной, полуварварской мелодии. В промежутках между пением она грациозно протягивала свою корзину гуляющим, приглашая их купить цветов. И много сестерций падало в ее корзину, как плата за музыку, или как дань сострадания к певице, так как она была слепа.

– Это моя бедная vessалийка, – сказал Главк, останавливаясь. – Я еще не видал ее после своего возвращения в Помпею. Тсс! не правда ли, как приятен ее голос? Послушаем... Я беру этот букет фиалок, прелестная Нидия, – продолжал Главк, пробираясь сквозь толпу и бросая в корзину пригоршню мелких монет, – твой голос еще очаровательнее прежнего.

Слепая девушка, услышав голос афинянина, вздрогнула и бросилась вперед. Но вдруг остановилась, и горячая краска залила ее шею, щеки и даже виски.

– Ты вернулся! – промолвила она тихим голосом и еще тише повторила про себя: «Главк вернулся!»

– Да, дитя мое, я приехал в Помпею всего несколько дней тому назад. Мой сад по-прежнему нуждается в твоём уходе. Надеюсь, ты навестишь его завтра же. И помни, что ни одна гирлянда в моем доме не будет сплетена иначе, как руками хорошенькой Нидии.

Нидия радостно улыбнулась, но не отвечала ни слова. Главк, приколов к груди выбранный им букет фиалок, беспечно и весело выбрался из толпы.

– Так эта девочка – одна из твоих клиенток? – спросил Клавдий.

– Да, не правда ли, она мило поет? Я принимаю участие в бедной рабыне! К тому же она из Вессалии, гора богов – Олимп бросала тень на ее колыбель...

– Она из страны волшебниц?

– Это правда. Но я нахожу, что каждая женщина – волшебница. А в Помпее, клянусь Венерой, самый воздух кажется мне любовным зельем, до того каждое безбородое лицо красиво, на мой взгляд.

– А кстати вот одно из красивейших лиц во всей Помпее – дочь старого Диомеда, богатая Юлия, – сказал Клавдий.

Действительно, к ним приближалась, идя в бани, молодая женщина с лицом, закутанным покрывалом, в сопровождении двух рабынь.

– Привет тебе, прекрасная Юлия!

Юлия приподняла вуаль настолько, чтобы показать смелый римский профиль, большие блестящие темные глаза и щеки оливкового оттенка, на которые искусство навело нежный розовый румянец.

– Главк вернулся тоже! – молвила она, многозначительно взглянув на афинянина. Затем прибавила полупшепотом: – Уж не забыл ли он своих прошлогодних друзей?

– Прекрасная Юлия! Сама Лета если и исчезает в одном месте земли, тем не менее появляется в другом. Юпитер позволяет лишь минутное забвение. Но Венера, еще более беспощадная, не допускает даже и минуты забывчивости.

– Главк всегда находчив в речах.

– Поневоле будешь находчивым, когда имеешь перед глазами предмет столь прекрасный!

– Надеюсь, мы скоро увидим вас обоих в вилле моего отца? – продолжала Юлия, обращаясь к Клавдию.

– Мы отметим белым камнем день нашего посещения, – отвечал игрок.

Юлия опустила покрывало, но медленно, так что последний взгляд ее опять остановился на афинянине с притворной застенчивостью. В этом взгляде выразились и нежность, и упрек.

Друзья пошли своей дорогой.

– Юлия, бесспорно, очень красива, – сказал Главк.

– В прошлом году ты сказал бы это с гораздо большей горячностью.

– Это правда, я был ослеплен с первого взгляда и принял за самородный камень то, что, в сущности, было лишь искусной подделкой.

– Ну, все женщины, в сущности, на один покрой, – возразил Клавдий. – Счастлив тот, кому достанется красивое личико и хорошее приданое. Чего же больше желать?

Главк вздохнул.

Они очутились теперь в менее людной улице. В конце ее виднелось безбрежное, великолепное море, которое у этих чудных берегов, казалось, утратило свою привилегию наводить ужас, – до такой степени мягок и приятен был ветерок, веющий над его поверхностью, так ярки и разнообразны оттенки, которые оно заимствовало от облаков, так дивны ароматы, несущиеся с берега над его глубиной. Не трудно поверить, что из такого моря восстала Афродита, чтобы властвовать над миром.

– Еще рано идти в бани, – сказал грек, чуткий ко всему поэтическому и прекрасному, – уйдем из шумного города и полюбуемся морем, пока еще солнце играет в его волнах.

– С наслаждением, – отвечал Клавдий, – в сущности, бухта всегда самая оживленная часть города.

Помпея представляла собою в миниатюре цивилизацию этого века. В темном пространстве, заключенном в ее стенах, были собраны образчики всех даров, какие только может предложить роскошь сильным мира сего. В ее миниатюрных, но блестящих лавках, в изящных дворцах, банях, форуме, театре, цирке – в самой испорченности, в самой утонченности порока можно было видеть образцы того, что творится во всей империи. Это была игрушка, прихоть, панорама, в которой богам, казалось, нравилось видеть отражение всего того, что делалось в больших размерах в величайшие монархии на земле и которую они впоследствии сохранили от времени на диво потомству, – как бы в оправдание пословицы, что ничто не ново под луною.

В бухте, гладкой как зеркало, толпились торговые корабли и раззолоченные галеры для потехи богатых граждан. Рыбачьи лодки быстро сновали взад и вперед. Вдали виднелись стройные мачты флота под командой Плиния. На берегу сицилиец, с оживленными жестами и выразительной мимикой, рассказывал группе рыбаков и поселян диковинные истории о кораблекрушениях и спасительных дельфинах, – точь-в-точь такие же, какие и в наше время можно услышать на неаполитанском моле.

Увлекая товарища вдаль от толпы, грек направил шаги свои в уединенное место побережья, и приятели, поместившись на скале среди гладких валунов, с наслаждением вдыхали

полный неги, прохладный ветерок, носившийся над зыбью в такт ее движению. В окружающем зрелище было нечто, располагавшее к молчанию и мечтательности. Клавдий, защитив рукою глаза от палящего солнца, рассчитывал про себя свой выигрыш на прошлой неделе, а грек, опершись на руку и не закрываясь от солнца, – покровительственного божества своей нации, живительные лучи которого, полные поэзии, радости и любви, словно переливались в его собственных жилах, – молча любовался расстилавшейся перед ним ширью, а может быть, и завидовал ветерку, который неся к берегам Греции.

– Скажи мне, Клавдий, – проговорил наконец грек, – был ли ты когда-нибудь влюблен?

– Да, очень часто.

– Кто любил часто, тот никогда не любил, – отвечал Главк. – Эрот только один, хотя подделок есть много.

– Но и эти подделки, право, недурные божки, – заметил Клавдий.

– Согласен с тобой, я поклоняюсь даже тени любви, но ее самое боготворю еще больше.

– Так, значит, ты влюблен серьезно, не на шутку? Испытываешь то чувство, что описывают поэты, чувство, заставляющее человека забывать об ужине, бежать от театра и сочинять элегии? Вот уж никогда бы не подумал! Ты, однако, умеешь притворяться!

– До этого дело еще не дошло! – возразил Главк, улыбаясь. – В сущности, я еще не влюблен, но мог бы влюбиться, если б имел случай видеть предмет моих мечтаний. Эрот охотно зажег бы факел, но жрецы не дали ему масла.

– Ну, предмет-то не трудно угадать! Ведь это дочь Диомеда? Она обожает тебя и не старается этого скрывать, клянусь Геркулесом! Опять-таки скажу – красива и богата! Она позолотит все колонны в доме своего мужа.

– Нет, я не хочу продавать себя. Дочь Диомеда хороша, не спорю, и было время, когда... Не будь она внучкой отпущенника, я готов был бы... Но нет, вся красота ее только в лице. В ее манерах нет ничего девического, а ум лишен всякого развития и направлен только на удовольствия.

– Неблагодарный! Но скажи, кто же та другая счастливая дева?

– Так слушай же, Клавдий... Несколько месяцев тому назад я жил в Неаполисе, городе, дорогом моему сердцу, потому что в нем до сих пор сохранились нравы и отпечатки его греческого происхождения, и он заслуживает названия Парфенона, благодаря своему чудному воздуху и роскошным берегам. Однажды я зашел в храм Минервы вознести молитвы не столько о себе самом, сколько о городе, которому уже не покровительствует Паллада. Храм был пуст и безлюден. В голове моей теснились воспоминания об Афинах. Думая, что я один в храме, я углубился в религиозное созерцание. Молитва моя вылилась прямо из сердца, и я прослезился. Среди усердной молитвы я вдруг услышал чей-то вздох. Обернувшись, я увидел за собою женщину. Она подняла покрывало и тоже молилась. Когда взоры наши встретились, мне показалось, что небесный луч из ее темных, чудных глаз сразу проник мне в душу. Никогда еще, Клавдий, я не видывал лица такой совершенной красоты: легкая меланхолия смягчала и вместе с тем возвышала его выражение: нечто неопишное, исходящее прямо из души, то, что наши ваятели старались придать образу Психеи, сообщало ее красоте благородную, дивную прелесть. Из глаз ее струились слезы. Я сразу угадал, что она афинянка и что моя молитва об Афинах отозвалась в ее сердце. Я заговорил с ней дрожащим от волнения голосом: «Не афинянка ли ты, о прелестная девушка?» При звуке моего голоса она вспыхнула и закрыла лицо вуалью. «Прах моих предков покоится у берегов Илиса. Родилась я в Неаполисе, но родители мои родом из Афин, и сердце мое принадлежит Афинам». – «В таком случае, – сказал я, – принесем нашу жертву вместе».

И когда явился жрец, мы последовали за ним и стояли рядом, пока он произносил молитву. Мы вместе прикоснулись к коленям богини, вместе возложили на жертвенник свои оливковые гирлянды. Я испытывал странное чувство блаженства и умиления от такой близости.

сти. Оба чужеземцы, из далекой, падшей страны, мы были одни в храме родного божества: не мудрено, что сердце мое стремилось к моей соотечественнице, – разве не имел я права назвать ее этим именем? Мне казалось, что я уже давно знаю ее, и этот простой обряд как будто чудом соединил нас узами взаимного сочувствия. Молча мы вышли из храма, и я уже собирался спросить ее, где она живет и дозволено ли мне посетить ее, как вдруг молодой человек, отличавшийся родственным сходством с нею и стоявший на паперти храма, взял ее за руку. Она обернулась и простилась со мной. Толпа разделила нас, и я больше не видал ее. Вернувшись домой, я застал письма, принудившие меня ехать в Афины, так как родственники грозили затеять против меня тяжбу по поводу наследства. Выиграв процесс, я опять посетил Неаполис. Я обыскал весь город, но нигде не нашел ни малейших следов моей соотечественницы. Надеясь рассеять веселой жизнью воспоминания о прекрасном видении, я поспешил погрузиться в вихрь помпейских удовольствий. Вот моя история. Это не любовь, а воспоминания и сожаления...

Клавдий собирался отвечать, как вдруг послышались медленные, степенные шаги по камешкам, – собеседники обернулись и узнали пришельца.

Это был мужчина лет около сорока, высокого роста, худощавый, но крепкого и мускулистого сложения. Темный, оливковый цвет лица выдавал его восточное происхождение. Черты напоминали греческий тип (особенно подбородок, губы и лоб), кроме носа – орлиного и с горбинкой. Выдающиеся скулы и резкие очертания лишили его лицо той грации и гармонии, благодаря которым греки сохраняют, даже в пожилых годах, округлые и красивые формы юности. Его глаза, большие и черные, как ночь, светились каким-то стоячим, ровным блеском. Глубокое, мечтательное спокойствие с оттенком меланхолии выражалось в его величавом и властном взгляде. Его поступь и осанка были как-то особенно положительны и величественны, а в покрое и темных цветах широких одежд было что-то чужеземное, еще более усиливавшее впечатление, производимое его спокойной осанкой и статной фигурой. Молодые люди, приветствуя пришедшего, сделали машинально и украдкой легкий жест пальцами, – всем было известно, что Арбак-египтянин обладает роковым даром: у него дурной глаз.

– Вероятно, вид отсюда очень хорош, – промолвил Арбак, с холодной, но учтивой улыбкой, – если увлекает веселого Клавдия и обворожительного Главка так далеко от людных, шумных кварталов города.

– Разве в природе вообще так мало привлекательного? – спросил грек.

– Для людей, ведущих рассеянную жизнь, – да.

– Суровый ответ, но едва ли справедливый. Удовольствия любят контрасты. Благодаря рассеянной жизни, мы научаемся ценить уединение, а от уединения приятен переход к развлечениям.

– Так думают юные философы академии, – возразил египтянин, – они по ошибке принимают усталость за вдумчивость и воображают, что если им все надоело, то, значит, они находят наслаждение в одиночестве. Но не в их скушающем сердце природа способна пробудить энтузиазм, который один раскрывает целомудренные тайники ее невыразимой красоты. Природа требует от вас не пресыщенной страстями души, а всего того пыла, от которого вы думаете избавиться, обратившись к ней. О, юный афинянин, луна явилась Эндимиону в виде светлых видений не после дня, проведенного среди лихорадочной людской сумятицы, а на тихих горных вершинах, в уединенных долинах, где бродят охотники.

– Прекрасное сравнение! – воскликнул Главк. – Но крайне неверно примененное. Усталость! Это слово относится к старости, а не к юности! По крайней мере, что касается меня, то я еще не знал ни минуты пресыщения.

Египтянин опять улыбнулся, но холодной, мрачной улыбкой, и даже Клавдий, нелегко поддающийся фантазии, почувствовал мороз по коже. Арбак не отвечал на страстное восклицание Главка, но после небольшой паузы промолвил тихим, меланхолическим тоном:

– Как бы то ни было, вы хорошо делаете, что наслаждаетесь счастливыми минутами, покуда они вам улыбаются: роза скоро вянет, аромат ее быстро испаряется. А нам, о Главк, нам, чужеземцам, вдали от родины, от праха отцов наших, только и остается или пользоваться удовольствиями, или предаваться грусти! Для тебя – наслаждения, для меня – грусть!

Блестящие глаза грека вдруг помутились от слез.

– Не произноси таких речей, Арбак, – воскликнул он, – не говори о наших предках. Забудем, что были когда-то другие свободные города, кроме Рима. А слава! О, напрасно мы захотели бы вызвать ее призрак с полей Марафона и Фермопил!

– Твое сердце в разладе с твоими словами, – возразил египтянин, – и сегодня же ночью, среди развлечений, ты будешь более вспоминать о Леене³, чем о Лаисе. Vale!

С этими словами он закутался в складки своей одежды и удалился тихими шагами.

– Как-то дышится свободнее! – сказал Клавдий. – Подражая египтянам, мы иногда вносим скелет на наши пиршества. По правде сказать, присутствие такой личности, как вот так крадущаяся тень, может заменить призрак – при нем покажутся кислыми роскошнейшие гроздьи фалернского винограда.

– Станный человек! – отозвался Главк задумчиво. – Хотя он, по-видимому, умер для наслаждений и холоден к мирским удовольствиям, однако ходит слух – если только это не клевета, – что его дом и его страсти в противоречии с его суровыми учениями.

– Рассказывают, будто в его мрачном доме происходят иные оргии, кроме празднеств в честь Осириса. Кроме того, он, кажется, очень богат. Нельзя ли залучить его к нам и посвятить в прелести игры? Вот удовольствие из удовольствий! Лихорадочное возбуждение надежды и страха! Несказанная, неиссякающая страсть! О, игра! Как ты жестоко-прекрасна!

– Вдохновенные речи! – воскликнул Главк, смеясь. – Оракул заговорил устами поэта Клавдия. После этого какого еще ждать нам чуда!

³ Леена, геройская подруга Аристогитона, подвергнутая пытке, откусила себе язык, чтобы не выдать под влиянием боли заговора против сыновей Пизистрата. Во времена Павзания можно было видеть в Афинах сооруженную в честь ее статую львицы.

III. История Главка. – Описание помпейских домов. – Классический пир

Небо даровало Главку все блага, кроме одного. Оно наделило его красотой, здоровьем, богатством, талантами, знатным родом, пылким сердцем, поэтической душой, – но оно отказало ему в свободе. Он родился в Афинах уже подданным Рима. Получив в ранней молодости большое наследство, Главк отдался склонности к путешествиям, столь естественной в молодом человеке, и не пил полной чаши опьяняющих наслаждений среди пышной роскоши императорского двора.

Это был Алкивиад, но без честолюбия. Он стал тем, чем так легко сделаться человеку молодому, с пылким воображением, богатому, талантливому, если он не вдохновляется мечтами о славе. Его дом в Риме служил сборищем для кутил, но также и для поклонников всего прекрасного. Греческие ваятели изошряли свое искусство, украшая портики и сени у афинянина. В его помпейском жилище, увы, краски теперь поблекли, стены лишились прежней живописи, главной красоты его; законченность, изящество украшений – все исчезло, а все-таки, когда этот дом снова увидел свет божий, какое восхищение, какие восторги возбудила его тонкая, блестящая отделка, его живопись, его мозаика! Страстно увлекаясь поэзией и драмой, напоминавшими ему гений и геройство его народа, Главк украшал свое жилище главными сценами из творений Эсхила и Гомера. Археологи, обращающие искусство в ремесло, ошибочно приняли патрона за самого мастера, и до сих пор они по привычке называют открытый при раскопках дом афинянина Главка – домом драматического поэта.

Перед тем как приняться за описание этого жилища, не мешает дать читателю общее понятие о помпейских домах, которые, как мы увидим, вполне соответствуют планам Витрувия, но с теми различиями в подробностях, какие зависят от прихоти и от личного вкуса и всегда ставят в тупик археологов.

Обыкновенно вы входите через небольшой коридор (называемый *vestibulum*) в помещение вроде сеней, иногда, но редко, украшенное колоннами. По трем сторонам сеней находятся двери, ведущие в различные спальни, из коих самые лучшие предназначаются для гостей. В конце сеней, направо и налево, если дом большой, находятся две небольшие комнатки, обыкновенно предназначенные для хозяек дома. В центре мозаичного пола сеней всегда устроено нечто, напоминающее мелкий, квадратный бассейн для дождевой воды (на классическом языке *impluvium*), стекающей через отверстие, проделанное в кровле. По желанию оно закрывалось ставней. Возле этого имплувиума, имевшего особое священное значение в глазах древних, помещались иногда (в Риме чаще, нежели в Помпее) изображения домашних богов. Гостеприимный очаг, часто упоминаемый римскими поэтами и посвященный ларам, в Помпее почти неизменно состоял из подвижной жаровни, а в каком-нибудь углу, почти всегда на виду, стоял большой деревянный ящик, окованный бронзовыми или железными полосами и укрепленный на каменном пьедестале при помощи крючков так прочно, чтобы никакой вор не мог сдвинуть его с места. Предполагали, что этот ящик служил сокровищницей или денежным сундуком для хозяина дома. Но так как ни в одном из них не было найдено денег в Помпее, то пришли к заключению, что он скорее служил для украшения, нежели для пользы.

В сенях (или атриуме, говоря классическим языком) обыкновенно принимались клиенты и посетители низшего сословия. В наиболее знатных домах существовал особый раб (*atriensis*) специально, чтобы состоять при атриуме. Он занимал важное, высокое положение среди прочей челяди. Как раз против входа в конце сеней находилась комната (*tablintum*) с полом, обыкновенно устланном дорогой мозаикой, и со стенами, покрытыми искусной живописью. Здесь хранились семейные документы или вообще бумаги, касающиеся общественного поста, занимаемого хозяином дома: по одну сторону – комната, которую мы назвали бы кабинетом для

хранения драгоценностей и различных редкостей, наиболее ценных и художественных, а рядом непременно узкий коридор, предназначенный для рабов, чтобы они могли проходить на другую половину дома, минуя парадные покои. Все эти комнаты выходили на квадратную или же продолговатую колоннаду, известную под техническим названием перистилия. Если дом был мал, то он и кончался этой колоннадой, и в таком случае посреди нее был устроен род сада и стояли вазы с цветами на пьедесталах. Под той же колоннадой, направо и налево, вели двери в спальни⁴, во второй триклиний, или столовую (у древних имелось для этой цели, по крайней мере, две комнаты – одна летняя, другая зимняя, или же одна для будней, другая для парадных случаев), а если владелец дома был любитель литературы, то тут же помещался и кабинет, величаемый библиотекой, – в сущности, достаточно было очень небольшой комнаты для помещения нескольких свитков папируса, считавшихся у древних порядочной коллекцией книг.

В конце перистилия обыкновенно помещалась кухня. Если дом был просторный, то он не оканчивался перистилем, и в таком случае середина колоннады не заменяла сад, а украшалась иногда фонтаном или бассейном для рыбы. По ту сторону его, против таблинума, находилась другая столовая, а по бокам – спальни и часто картинная галерея, или пинакотека⁵.

Эти покои опять-таки сообщались с квадратным или продолговатым помещением, обыкновенно украшенным с трех сторон колоннадой, в роде перистилия, но подлиннее. Это и был собственно сад, или *viridarium*, с фонтанами, статуями и обилием роскошных цветков: на дальнем конце было жилище садовника. По бокам его, за колоннами, иногда имелись еще добавочные комнаты, если семья была многочисленна.

В Помпее второй и третий этажи редко имели значение. Они надстраивались лишь над небольшой частью дома и предназначались для рабов. В этом отношении они разнятся от великолепных римских зданий, где главная столовая зала (*coenaculum*) помещалась во втором этаже. Помпейские комнаты большей частью были невелики. В этом чудном климате гостей принимали в перистиле (или портике), в сенях или в саду. И даже банкетные покои, хотя и роскошно украшенные, были скромных размеров, так как интеллигентные люди в древности любили общество, а не толпу, и редко приглашали на пир более девяти человек зараз, так что им не нужны были, как нам, обширные столовые⁶. Но ряд комнат, если на них взглянуть от входа, представлял, без сомнения, очень величественный, эффектный вид: вы сразу могли видеть богато вымощенные и расписанные сени, таблинум, изящный перистиль, а если дом был обширный, то банкетную и сад, замыкавший перспективу журчащим фонтаном или мраморной статуей.

Теперь читатель имеет ясное понятие о помпейских домах, похожих в некотором отношении на греческие, но большей частью построенных в стиле римской архитектуры. Почти в каждом доме замечалась какая-нибудь особенность в подробностях, но в общем все были устроены на один лад. Во всех вы находите сени, таблинум, перистиль, сообщающиеся между собою. Во всех стены богато расписаны и всюду заметно стремление к утонченному изяществу жизни. Однако в чистоте помпейского вкуса по части украшений позволено и усомниться. Помпейцы любили пестрые цвета, фантастические узоры. Они часто окрашивали нижнюю часть колонн в ярко-красный цвет, оставляя остальную часть неокрашенной, а где сад оказывался слишком мал, они зачастую расписывали заднюю стену, чтобы обмануть глаз насчет его размеров – деревьями, птицами, храмами в перспективе. К этому эффекту прибегал сам Плиний при всем своем педантизме, и даже гордился остроумием выдумки.

Дом Главка был одним из самых миниатюрных, но вместе с тем самых изящно украшенных из частных домов Помпеи. Он мог бы служить образцом для квартиры какого-нибудь

⁴ У римлян спальни были приспособлены не только для ночи, но и для дневного отдохновения (*cubicula diurna*).

⁵ В роскошных дворцах Рима эта картинная галерея сообщалась с атриумом.

⁶ Когда приглашалось очень многочисленное общество, то пир происходил обыкновенно в сенях.

щеголя-холостяка, предметом зависти и отчаяния для страстных коллекционеров буля и маркетри.

Вы входите в длинные, узкие сени, на мозаичном полу которых изображена собака с известной надписью: «Саве сапет», или «берегись собаки». По обе стороны сеней помещалось по комнате, довольно просторной. Так как внутренняя часть дома была не настолько велика, чтобы делить ее на частные и парадные половины, то эти две комнаты были устроены отдельно для приема посетителей, которые ни по своему положению, ни по степени близости с хозяином не могли быть допускаемы во внутренние апартаменты.

Затем, пройдя немного далее по сеням, вы входите в атриум, весь расписанный картинами, которых не постыдился бы сам Рафаэль. Теперь они перенесены в Неаполитанский музей, где ими восхищаются знатоки. Они представляют прощание Ахилла с Бризейдой. Нельзя не восторгаться силой, изяществом, выразительностью, с какими исполнены лица и фигуры Ахилла и его бессмертной рабыни.

По одну сторону атриума небольшая лестница вела в комнаты рабов, помещавшиеся во втором этаже. Там же находилось две-три маленьких спальни, со стенами, расписанными разными сюжетами, такими как похищение Европы, битва амазонок и т. д.

Далее был таблинум, увешанный на обоих концах богатыми драпировками тирского пурпура, наполовину раздвинутыми. Живопись на стенах представляла поэта, читающего стихи друзьям, а пол был устлан мелкой чудной мозаикой, изображающей директора театра, дающего наставления своим актерам. За этим салоном следовал перистиль, и этим кончался дом (как это обыкновенно бывало в помпейских жилищах небольших размеров). На каждой из семи колонн, украшавших этот внутренний двор, фестоном висели гирлянды: середина его, заменяющая сад, украшалась редкими цветами в вазах белого мрамора на пьедесталах. Налево от этого маленького сада помещался миниатюрный храм, вроде небольших часовен, встречающихся по дорогам в католических странах. Храм этот был посвящен пенатам, и перед ним стоял бронзовый треножник. Налево от колоннады находились два небольших кубукулума, или спальни. Направо – триклиний, где теперь и собирались гости.

Эту комнату археологи Неаполя прозвали «покоем Леды», и в прекрасном сочинении сэра Виллиама Джелля читатель найдет копию с изящной и прелестной картины, изображающей Леду, подающую супругу своего новорожденного. Эта красивая комната выходила в цветущий сад. Вокруг стола из лимонного дерева, тщательно полированного и выложенного серебряными арабесками, стояли три ложа, более употребительные в Помпее, нежели полукруглые седалища, с некоторых пор входившие в моду в Риме. На этих ложах из бронзы, с инкрустациями из более благородных металлов, лежали упругие подушки, украшенные тонкими вышивками.

– Признаюсь, – заметил эдил Панса, – твой дом, несмотря на миниатюрные размеры, настоящий перл в своем роде. Как прекрасно написано это расставание Ахилла с Бризейдой! Какой стиль! Какие лица!

– Похвала из уст Пансы действительно имеет цену, – с важностью проговорил Клавдий. – Взгляните на живопись стен в его доме! Вот так уж подлинно – рука мастера!

– Ты льстишь мне, Клавдий, право, льстишь, – отвечал эдил, знаменитый во всей Помпее своими отвратительными картинами, так как в качестве патриота он покровительствовал одним лишь помпейским художникам. – Ты льстишь мне. Но в самом деле, у меня есть кое-что хорошенькое, – по колориту, уж не говоря о рисунке. А что касается живописи в кухне, друзья мои, то тут разыгралась моя собственная фантазия!

– Каков же сюжет? – спросил Главк. – Я еще не видал твоей кухни, хотя часто имел случай восхищаться ее произведениями.

– Сюжет вот какой, афинянин: повар, приносящий в жертву Весте трофеи своего искусства, а в отдалении прекрасная мурена на вертеле (прямо с натуры!). Какова фантазия!

В эту минуту появились рабы. Они несли на подносах всякие принадлежности к пиру. Среди роскошных фиг, свежих трав, анчоусов, яиц, стояли маленькие кубки с охлажденным вином, разбавленным льдом, смешанным с небольшим количеством меда. Когда все было готово, молодые рабы стали разносить гостям (их было пятеро – не больше) серебряные тазы с душистой водой и салфетки, окаймленные пурпуровой бахромой.

Но эдил с важностью вынул свою собственную салфетку, которая хотя и была не столь тонкого полотна, зато окаймлена бахромой вдвое шире. Он вытер ею руки с самодовольством человека, сознающего, что он возбуждает восхищение.

– Какая великолепная салфетка! – сказал Клавдий. – Бахрома широка, как настоящий кушак!

– Нет, это так, безделица, Клавдий, сущая безделица! Говорят, впрочем, что такая кайма – новейшая мода в Риме. Но Главк больше меня понимает толк в этих вещах.

– Будь милостив к нам, о Бахус! – сказал Главк, благоговейно преклоняясь перед прекрасной статуей этого бога, стоявшей посреди стола, по концам которого красовались солонки.

Гости повторили молитву и совершили обычное возлияние, опрыскав стол вином.

После этого обряда все прилегли на ложах, и начался ужин.

– Пусть этот кубок будет моим последним кубком, если это вино не самое лучшее в Помпее! – воскликнул юный Саллюстий, когда со стола убрали яства, возбуждавшие аппетит, и заменили их более существенной частью трапезы, а главный раб наполнил кубки сверкающей влагой.

– Принести сюда амфору, – приказал Главк, – и прочесть историю происхождения этого вина.

Раб поспешил доложить обществу, что согласно ярлыку, привязанному к пробке, родина этого вина – Хиос, и что оно насчитывает добрых пятьдесят лет от роду.

– Как чудно освежил его лед, – заметил Панса, – как раз настолько, насколько нужно.

– Для вина, – воскликнул Саллюстий, – этот лед то же самое, что для человека опытность, которая, слегка охлаждая пыл его наслаждений, придает им двойную прелесть.

– Это то же самое, что отказ в устах женщины, – прибавил Главк, – он минутно охлаждает, но чтобы еще сильнее воспламенить нас.

– Когда же будет опять бой диких зверей? – обратился Клавдий к Пансе.

– Он назначен на девятый день после ид августа месяца, – отвечал Панса, – на другой день после праздника Вулкана. На этот случай у нас припасен чудеснейший молодой лев.

– В самом деле, я не шутя об этом подумывал, – сказал эдил серьезно. – Как возмутителен закон, воспрещающий нам отдавать диким зверям наших собственных рабов. Разве мы не вольны делать с нашим добром все, что нам угодно? Я нахожу, что это просто посягательство на принцип собственности.

– Не так было в добрые старые времена республики! – вздохнул Саллюстий. – И к тому же это мнимое милосердие к рабам сопряжено с лишениями для бедного народа. Как он любит смотреть на хороший бой между человеком и львом! И благодаря такому закону, он, пожалуй, лишится этого невинного удовольствия (если только боги не пошлют нам в скором времени настоящего преступника!).

– Хуже всего та политика, которая мешает мужественным увеселениям народа! – проговорил Клавдий поучительно.

– Ну, возблагодарим Юпитера и Судьбу, что нет больше Нерона, – воскликнул Саллюстий.

– Да, он действительно был тиран. Он закрыл наш амфитеатр на целых десять лет!

– Удивляюсь, как еще не произошло бунта! – сказал Саллюстий.

– Да и то он чуть было не случился, – возразил Панса, набивая себе рот жареным вепрем.

Тут разговор на минуту был прерван игрой на флейтах, и двое рабов внесли новое блюдо.

– Ага! Какими еще изысканными кушаньями ты намерен угостить нас, любезный Главк? – вскричал молодой Саллюстий со сверкающими от удовольствия глазами.

Саллюстий было всего двадцать четыре года, но величайшим наслаждением в жизни он считал еду. Быть может, он уже пресытился всеми другими удовольствиями. А между тем он был не лишен таланта и даже обладал добрым сердцем.

– Я знаю, что это, клянусь Поллуксом! – крикнул Панса. – Это амракийский козленок. Эй! (Он щелкнул пальцами, чтобы позвать раба.) Надо совершить еще возлияние в честь ново-прибывшего.

– Я надеялся, – вставил Главк грустным тоном, – угостить вас устрицами из Британии, но ветры, те самые, что были так жестоки к Цезарю, лишили нас этого лакомства.

– Да разве они так вкусны? – спросил Лепид, распуская свою тунику, и без того уже распоясанную.

– В сущности, я подозреваю, что расстояние придает им известную прелесть, – в них нет того прекрасного вкуса, как в устрицах из Бриндизиума. Но в Риме ни один ужин без них не обходится.

– Бедные бритты! Значит, и они на что-нибудь годятся! Производят устриц! – молвил Саллюстий.

– Хотелось бы мне, чтобы они доставили нам гладиатора, – заметил эдил, практический ум которого был поглощен заботой о нуждах театра.

– Клянусь Палладой! – воскликнул Главк в то время, как его любимый раб увенчивал его кудри гирляндой из свежих цветов. – Я люблю дикое зрелище, когда звери борются со зверями, но когда человека, существо, подобное нам по плоти, хладнокровно бросают на арену для растерзания, – вместо интереса является ужас. Мне делается дурно, я задыхаюсь, мне так и хочется броситься и защитить его. Рев толпы кажется мне ужаснее голосов фурий, преследующих Ореста. Я радуюсь, что так мало шансов для нас увидеть такое кровавое зрелище в нашем амфитеатре!

Эдил пожал плечами. Молодой Саллюстий, слышавший, однако, за самого добродушного человека в Помпее, уставился на Главка с изумлением. Изящный Лепид, редко открывавший рот, чтобы не нарушить гармонии своих черт, воскликнул: «Клянусь Геркулесом!» Паразит Клавдий пробормотал: «Клянусь Поллуксом», а шестой собеседник, являвшийся лишь тенью Клавдия и обязанный повторять слова своего более богатого покровителя в тех случаях, когда не мог восхвалять слова его, – тоже прошептал: «Клянусь Поллуксом!»

– Ведь вы, итальянцы, привыкли к таким зрелищам, а мы, греки, более сострадательны. О, тень Пиндара! Какая прелесть в настоящих греческих играх, – состязание человека с человеком, это великодушная борьба! Самое торжество вызывает как бы сожаление в победителе: он гордится, что боролся с благородным противником и вместе с тем печалится, что тот побежден! Но вы меня поймете...

– Превосходный козленок, – сказал Саллюстий.

Раб, чья обязанность специально заключалась в разрезании мяса, как раз окончил свое дело при звуках музыки, причем нож его орудовал в такт.

– Твой повар, разумеется, сицилиец? – спросил Панса.

– Да, он из Сиракуз.

– Мне хочется выиграть его у тебя, – предложил Клавдий. – Не сыграть ли нам партию в промежутке между переменами?

– Конечно, этот род игры лучше травли дикими зверями. Но я не могу рисковать своим сицилийцем: у тебя с твоей стороны нет такой драгоценной ставки...

– А Филлида, моя красивая танцовщица!

– Я никогда не покупаю женщин, – возразил грек, небрежно поправляя свой венок.

Музыканты, стоявшие в портике с наружной стороны, начали свой концерт с появлением козленка. Теперь мелодия перешла в более мягкий, игривый напев, и они исполнили известную песню Горация, начинающуюся словами: «*Persicos odi*» и т. д. и не поддающуюся переводу. Они считали ее подходящей для праздника, который, как бы он ни казался нам изысканным, отличался некоторой простотой сравнительно с пышными пирами той эпохи. Мы присутствуем на частном, а не на официальном празднике-пире, на приеме у дворянина, а не у императора или у сенатора.

– Добрый старый Гораций, – заметил Саллюстий тоном сострадания, – хорошо он воспевал пиры и дев, а все-таки далеко ему до наших современных поэтов.

– До бессмертного Фульвия, например! – добавил Клавдий.

– Фульвий бессмертен! – отозвалась эхом тень Клавдия.

– А Спурена, а Кай Муций, написавший три эпических поэмы в один год, – разве это было бы под силу Горацию или Вергилию? – вмешался Лепид. – Эти старые поэты впадали в ошибку, взяв себе за образец скульптуру, а не живопись. Простота и покой – вот их принцип. Зато у современных есть огонек, страсть, энергия. Мы никогда не спим, мы подражаем красками живописи, копируем жизнь, движение. Бессмертный Фульвий!

– Кстати, – заметил Саллюстий, – слышали вы новую оду Спурены в честь нашей египетской Исиды? Великолепно! Проникнуто истинным религиозным вдохновением!

– По-видимому, Исида у вас любимое божество в Помпее? – спросил Главк.

– Да, – ответил Панса, – она в большой славе как раз в настоящую минуту: ее статуя изрекает самые удивительные предсказания. Я не суеверен, однако должен сознаться, что она не раз существенно помогала мне своим советом в моей судебной деятельности. Ее жрецы чрезвычайно набожны! Не чета вашим веселым, надменным служителям Юпитера и Фортуны. Те ходят босые, не едят мяса и проводят большую часть ночи в уединении и молитве!

– Действительно, похвальный пример для нашего жреческого сословия! Храм Юпитера сильно нуждается в преобразованиях, – заключил Лепид, большой сторонник преобразований во всем, кроме самого себя.

– Говорят, Арбак-египтянин сообщил жрецам Исиды великие тайны, – заметил Саллюстий. – Он хвастается своим происхождением из рода Рамзесов и уверяет, что в его семье хранятся тайны из самой далекой древности.

– Бесспорно, что у него дурной глаз, – сказал Клавдий. – Всякий раз, как мне случится встретить эту физиономию Медузы и я не успею оградить себя талисманом, я или лишаюсь любимой лошади, или девять раз подряд выкидываю дурное число в игре в кости.

– Последнее, действительно, было бы чудом! – проговорил Саллюстий серьезно.

– Что ты хочешь сказать? – спросил игрок, вспыхнув.

– А то, что если б ты часто играл со мной, то обчистил бы меня как липку.

Клавдий презрительно усмехнулся.

– Не будь Арбак таким богачом, – сказал Панса с важностью, – я воспользовался бы своей властью и постарался бы расследовать, справедливы ли толки, будто он астролог и колдун? Агриппа, в бытность свою эдилом в Риме, изгнал всех подобных опасных граждан. Но раз он богатый человек – дело представляется иначе. Эдил обязан даже охранять богатых людей.

– А каково ваше мнение об этой новой секте, имеющей, как утверждают, несколько последователей в Помпее, – об этих приверженцах еврейского Бога – Христа?

– О, это пустые мечтатели и духовидцы! – отвечал Клавдий. – В их среде нет ни одного знатного человека. Их прозелиты – все бедняки, ничтожный, невежественный люд!

– Распят бы их всех следовало за их богохульство! – воскликнул Панса с горячностью. – Они отрицают Венеру и Юпитера! Назарянин – синоним атеиста. Только попадись они мне под руку!

Кончили вторую перемену. Пирующие откинулись на подушки ложа. Наступила пауза, в продолжение которой они слушали нежные голоса юга и музыку аркадских свирелей. Самым восторженным слушателем был Главк. Он менее всех был склонен нарушить молчание, но Клавдий уже начал подумывать, что жалко терять даром золотое время.

– *Vene vobis* (за твоё здоровье!), любезный Главк, – сказал он, опрокидывая себе в рот по кубку на каждую букву его имени с проворством истого пьяницы. – А не хочешь ли отомстить мне за твой вчерашний проигрыш? Посмотри, кости так и манят нас!

– Как угодно, я готов, – отвечал Главк.

– Кости, летом? Не забудьте, что я эдил, – вмешался Панса авторитетно, – это противозаконно.

– Только не в твоём присутствии, мудрый Панса, – возразил Клавдий, встряхивая кости в продолговатой коробке, – твоё присутствие сдерживает всякое злоупотребление, ведь не самая игра вредна, а неумеренное наслаждение игрой!

– Какая мудрость, – пробормотала тень Клавдия.

– Хорошо, я отвернусь, – согласился эдил.

– погоди еще, добрый Панса, – сказал Главк.

Клавдий неохотно покорился, стараясь скрыть свою досаду зевком.

– «Он жаждет насытиться золотом», – шепнул Лепид Саллюстию, приводя цитату из комедии Плавта «*Allularia*».

– «О, как мне знакомы эти полипы, захватывающие все, к чему бы они ни присосались», – отвечал Саллюстий из той же комедии.

На стол подали третью перемену, состоявшую из всевозможных плодов, фисташек, сладостей, тортов и пирожных самых фантастических, причудливых форм. Прислуживающие рабы поставили на стол и вино (до сих пор им обносили гостей) в больших хрустальных кувшинах. На каждом был ярлык с обозначением сорта и года.

– Попробуй этого лесбосского, Панса, – сказал Саллюстий, – чудесное вино!

– Оно не очень старо, – заметил Главк, – но оно скороспело, как и мы: вследствие того, что его ставили на огонь, вино подверглось пламени Вулкана, а мы – пламени его супруги Венеры, – в честь ее я и подымаю этот кубок.

– Вино тонкое, – сказал Панса, – хотя, может быть, чуточку слишком отзывает виноградом.

– Какой красивый сосуд! – воскликнул Клавдий, взяв со стола кубок прозрачного хрусталя с ручками, отделанными драгоценными камнями и выгнутыми в виде змеи – любимое украшение в Помпее.

– Это кольцо, – сказал Главк, снимая с первого сустава пальца перстень с дорогим камнем и вешая его на одну из ручек кубка, – это кольцо придаст кубку еще больше цены и сделает его достойным принятия другом моим, Клавдием. Молю богов, чтоб они даровали ему благоденствие и здоровье, и чтобы он мог часто наполнять этот кубок до краев!

– Ты слишком щедр, Главк, – отвечал игрок, передавая кубок своему рабу, – но твоя любовь придает подарку двойную цену.

– Пью в честь граций! – провозгласил Панса и трижды осушил чашу.

Остальные гости последовали его примеру.

– Мы еще не избрали распорядителя нашего пира! – воскликнул Саллюстий.

– Так бросим кости, кому придется, – предложил Клавдий, встряхивая ящик.

– Нет, – возразил Главк, – не надо нам холодного церемонного главы, обойдемся без диктатора на нашем банкете, без *rex convivii*. Разве не поклялись римляне никогда не повиноваться царю? Неужели мы будем пользоваться меньшей свободой, чем ваши предки? Эй, музыканты, сыграйте песню, которую я сочинил вчера вечером на стихи «Вакхический гимн часам».

Музыканты заиграли ионическую мелодию, между тем как юные голоса в хоре запели песню на греческом языке.

Гости шумно аплодировали. Когда сочинитель – сам хозяин дома, то стихи его, наверное, должны понравиться.

– В чисто греческом духе, – заметил Лепид, – римской поэзии недоступна сила, энергия, выразительность этого языка!

– Контраст, действительно, большой, – проговорил Клавдий с иронией в душе, хотя и старался этого не выказывать, – между этой песней и старосветской, бесцветной простотой оды Горация, слышанной нами раньше. Мелодия прелестна и в ионическом вкусе. Кстати, слово это напоминает мне некий тост: друзья, выпьем за здоровье прекрасной Ионы.

– Иона! Имя греческое, – тихо промолвил Главк. – С наслаждением пью за ее здоровье. Но кто такая Иона?

– Ага! Хорошо, что ты недавно вернулся в Помпею, а то ты подвергся бы ostracismu за свое невежество, – заметил Лепид самодовольно, – не знать Ионы – значит не знать главной красоты нашего города.

– Она редкой красоты, – прибавил Панса. – А какой голос!

– Она, должно быть, питается исключительно соловьиными языками, – сказал Клавдий.

– Соловьиными языками, – какая остроумная мысль, – отозвалась его тень.

– Просветите же меня, прошу вас, – обратился к ним Главк.

– Так знай же... – начал Лепид.

– Дай мне рассказать, – перебил его Клавдий, – твои слова ползут, как черепахи.

– А твои бьют в голову, как камни, – пробормотал про себя франт, презрительно откинувшись на подушку ложа.

– Итак, было бы тебе известно, Главк, – продолжал Клавдий, – что Иона иностранка, лишь недавно приехавшая в Помпею. Поет она, как Сафо, и сама сочиняет свои песни. А что касается свирели, цитры и лиры, то я, право, не знаю, на котором из этих музыкальных инструментов она превосходит муз. Красота ее ослепительна. Дом ее – совершенство. Какой вкус, какие драгоценности! Какая бронза! Она богата и столь же щедра, как и богата.

– Разумеется, ее любовники заботятся о том, чтобы она не умерла с голоду, – молвил Главк, – а известно, что деньги, легко нажитые, так же легко и тратятся.

– Любовники! Ну нет, – тут-то и загадка. У Ионы один только порок – она целомудренна. Вся Помпея у ног ее, но у нее нет любовника, она даже не желает выходить замуж.

– Нет любовников! – отозвался Главк.

– Нет. У нее душа Весты и пояс Венеры.

– Какие утонченные выражения, – прошептала тень.

– Да это какое-то диво! – воскликнул Главк. – Нельзя ли увидеть ее?

– Я сведу тебя к ней сегодня же вечером, – предложил Клавдий, – а покуда...

И он опять стал встряхивать кости.

– К твоим услугам, – отвечал Главк любезно. – Панса, отвернись!

Лепид и Саллюстий стали играть в чет и нечет, а тень наблюдала между тем как Главк с Клавдием мало-помалу погрузились в кости.

– Клянусь Поллуксом! – воскликнул Главк. – Вот уже два раза подряд я выкидываю самые дурные числа (capiculae)!

– Ну а теперь да покровительствует мне Венера! – сказал Клавдий, усердно встряхивая ящик. – О, чудная богиня, благодарю тебя! – прибавил он, выкинув самое крупное число, прозванное в честь этой богини.

– Венера неблагодарна, – сказал Главк весело, – уж я ли не приношу постоянно жертв на ее алтарь!

– Кто играет с Клавдием, – прошептал Лепид, – тот скоро поставит на ставку свой палиум, как Циркулио у Плавта.

– Бедный Главк! Он слеп, как сама Фортуна, – отвечал Саллюстий также вполголоса.

– Довольно! – объявил Главк. – Я проиграл тридцать сестерций.

– Мне очень жаль, – проговорил Клавдий.

– Какой любезный человек! – воскликнула тень.

– Нечего жалеть! – отвечал Главк. – Удовольствие, которое доставляет мне твой выигрыш, вполне вознаграждает меня за мою потерю.

Разговор оживился и сделался общим. Кувшины с вином заходили вокруг стола, – а гости опять стали расхваливать Иону

– Вместо того, чтобы наблюдать, как загораются звезды, пойдем любоваться на ту, чья красота затмевает звезды, – предложил Лепид.

Клавдий, убедившись, что больше ему не удастся играть в кости, поддержал это предложение, и Главк, хотя и упрашивал гостей, из вежливости, продолжать банкет, но не мог, однако, скрыть, что любопытство его сильно возбуждено похвалами Ионе. И вот решено было всем отправиться (кроме Пансы и тени) в дом красавицы-гречанки. Выпили снова за здоровье Главка, провозгласили тост за Тита, совершили последнее возлияние, надели свои туфли, спустились с лестницы, прошли по освещенному атриуму и, миновав, не боясь укушения, страшную собаку, изображение которой охраняло вход, очутились на освещенных только что поднявшейся луной улицах Помпеи, все еще полных веселой, оживленной толпой.

Прошли мимо квартала ювелиров, сиявшего огнями драгоценных камней, выставленных в окнах, и наконец дошли до дверей дома Ионы. Сени сияли рядом ламп. Пурпуровые вышитые драпировки завешивали двери таблинума, стены которого и мозаичный пол были разукрашены яркими художественными узорами. Под портиком, окружавшим благоухающий виридарий, они застали Иону в кругу очарованных ее поклонников и гостей.

– Кажется, ты сказал, что она афинянка, – шепнул Главк, входя в перистиль.

– Нет, она из Неаполиса.

– Из Неаполиса! – отозвался Главк.

В эту минуту группа, окружавшая Иону, расступилась, и он увидал перед собою блестящее видение – ту самую красавицу, подобную нимфам, которая в течение уже нескольких месяцев витала в его воображении, озаряя своим сиянием его воспоминания.

IV. Храм Исида. – Ее жрецы. – Характер Арбака выясняется

Вернемся к египтянину. Мы оставили Арбака на берегу полуденного моря после того, как он расстался с Главком и его спутником. Приближаясь к более людной части гавани, он остановился, скрестил руки на груди и смотрел на оживленную картину. Горькая усмешка блуждала на его смуглом лице.

– Простак, одураченные безумцы! – прошептал он про себя. – Каковы бы ни были ваши цели – еда, удовольствия, торговля или религия, – вы одинаково поддаетесь обману страстей, которыми вы сами должны в сущности управлять! Как я презирал бы вас, если б не ненавидел! Да, я вас ненавижу! Греки, римляне, – все вы похитили у нас в глубоких недрах египетской науки тот огонь, который воодушевляет вас. Ваши знания, ваша поэзия, ваши законы, ваше искусство, ваше варварское ведение войны, все это (но в каком жалком, искаженном виде, сравнительно с великим оригиналом) – вы украли у нас, как крадут рабы объедки после пира! И теперь вы – подражатели, выскочки, презренная шайка разбойников – вы наши повелители! Пирамиды уже не созерцают более потомков Рамзесов, орел витает над нильской змеей! Да, вы наши повелители, но не мои! Моя душа, в силу мудрости, властвует над вами, сковывает своими целями, хотя эти узы невидимы. До тех пор, пока знание способно укрощать силу, до тех пор, пока у религии останется хоть одна пещера, откуда оракулы могут морочить род человеческий, до тех пор мудрые будут властвовать над землей. Даже из ваших пороков Арбак извлекает наслаждения, невидимые глазам пошляков, – наслаждения высокие, богатые, истощимые, о каких ваши расслабленные умы, в их тупой чувственности, не могут составить себе понятия. Старайтесь дальше в том же духе, рабы честолюбия и корысти! Ваша мелочная падкость до выгодных мест, квесторских должностей и прочей комедии раболепной власти возбуждает во мне только смех и презрение! Мое же могущество распространяется всюду, где царствует легковерие. Я попираю ногами даже людей, облеченных в пурпур. Пусть пали Фивы, пусть Египет существует только по имени – весь мир поставляет подданных Арбаку.

Разглагольствуя сам с собою, египтянин шел вперед тихими шагами. Когда он вступил в город, его статная фигура величаво направилась к небольшому, но изящному храму, посвященному Исиде.

В то время это здание было еще недавно воздвигнуто. Древний храм обрушился от землетрясения шестнадцать лет тому назад, а новый вошел в моду у непостоянных помпейцев, как входит в моду у нас новая церковь или новый проповедник. Оракулы богини в Помпее были поистине замечательны не столько таинственностью своих изречений, сколько меткостью их и верой, с которой их принимал народ. Если даже эти пророчества и не были голосом самого божества, то во всяком случае исходили из глубокого знания человеческого сердца. Предсказания как раз подходили к положению и обстоятельствам каждого данного лица и представляли резкий контраст с туманными и неопределенными общими местами, изрекаемыми в других соперничающих храмах. Когда Арбак подошел к решетке, отделявшей часть храма, предназначенную для непосвященных, от самого святилища, он застал толпу народа всех сословий, преимущественно торгового, собравшуюся в безмолвном благоговении перед жертвенниками, воздвигнутыми во дворе, на открытом воздухе. В стенах храма, возвышавшегося на семи ступенях из паросского мрамора, стояли в нишах статуи, а самые стены украшались ветками гранатов, посвященных Исиде. Продолговатый пьедестал занимал середину внутреннего здания, а на нем стояли две статуи – изображавшие Исиду и ее молчаливого, мистического спутника Ора. Но, кроме того, в храме находились еще и другие божества, составляющие как бы штат главной египетской богини: ее родич – Бахус, киприйская Венера, выходящая из ванны, Ану-бис с собачьей головой, бык Апис и различные египетские идолы причудливой формы и неиз-

вестных наименований. Но не следует думать, что в городах Magna Graecia Исида поклонялись по всем правилам и обрядам, присвоенным ей издревле. Смешанные новейшие национальности юга дерзко и невежественно перепутывали религии всех миров и веков. Глубокие таинства Нила искажались примесью легкомысленных и фальшивых обрядов из религий Сефиза и Тибура. В помпейском храме Исиды священнодействовали жрецы римские и греческие, не ведающие ни языка, ни обрядов древних почитателей этой богини. И потомок могущественных египетских царей, под видом благоговейного трепета, в душе издевался над этой пошлой комедией подражания величественным религиозным церемониям его отчизны.

По обе стороны ступеней, готовясь к жертвоприношению, стояла толпа в белых одеждах. На вершине ступеней двое второстепенных жрецов держали в руках – один пальмовую ветвь, а другой небольшой сноп колосьев. В узком проходе впереди толпились зрители.

– По какому случаю собрались вы сегодня к жертвеннику великой Исиды? – обратился Арбак к одному из зрителей, купцу, ведущему торг с Александрией, откуда, вероятно, и проникло в Помпею поклонение египетской богине. – Судя по белым одеждам этой группы людей, я полагаю, что они собираются приносить жертву и ожидают изречения оракула. На какой именно вопрос вы желаете получить ответ?

– Мы купцы, – шепотом отвечал ему зритель (это был не кто иной, как Диомед), – и желали бы узнать судьбу наших кораблей, отплывающих завтра в Александрию. Мы готовимся приносить жертву богине. Я сам не принадлежу, однако, к числу жертвоприносителей, ты это можешь видеть по моему платью, но я отчасти тоже заинтересован в участии этого флота, – клянусь Юпитером! Я веду недурную торговлю, иначе как мог бы я существовать по теперешним тяжелым временам!

Египтянин отвечал с важностью, что хотя Исида, собственно говоря, богиня земледелия, но тем не менее она также покровительница торговли. Затем Арбак обратился к востоку и углубился в безмолвную молитву.

На ступенях жертвенника показался жрец, одетый с ног до головы в белое, с покрывалом, ниспадающим по обе стороны его лица. Два новых жреца сменили тех, которые до тех пор стояли по углам. Эти новые жрецы были обнажены до пояса, а остальная часть их тела окутана в длинные, широкие, белые одежды. В то же время особый жрец на верхней ступени заиграл торжественную мелодию на духовом музыкальном инструменте. На средних ступенях стоял еще фламин, держа в одной руке жертвенный венок, а в другой белый жезл. Довершая эту живописную картину восточной церемонии, ибис (священная птица в Египте) безмолвно взирал со стены на этот обряд или гордо выступал возле жертвенника у подножия ступеней.

Главный жрец подошел к жертвеннику.

Лицо Арбака утратило свое суровое спокойствие, пока аруспиции рассматривали внутренности, и приняло выражение набожного страха. Когда все признаки оказались благоприятными, лицо его прояснилось и повеселело. Затем стали сжигать на ярком огне священные части жертвы среди благоухания мирры и ладана.

В эту минуту мертвая тишина воцарилась в толпе. Жрецы собрались вокруг жертвенника. Выступил один из них, почти обнаженный, с поясом вокруг стана, и стал плясать, неистово жестикулируя и умоляя богиню дать ожидаемый ответ. Наконец, выбившись из сил, он остановился, и изнутри статуи раздался слабый звук. Трижды шевельнулась голова богини, губы раскрылись, и глухой голос произнес мистические слова:

«Волны, как кони, рвутся и мчатся, разверсты могилы в скале под ними, на челе будущего собрались грозные тучи, но в этот страшный час ваши суда будут хранимы судьбой».

Голос замолк, толпа вздохнула с облегчением, купцы переглянулись между собой.

– Это ясно, как день, – пробормотал Диомед, – на море разразится буря, как это часто случается в начале осени, но наши корабли спасутся. О милосердная Исида!

– Хвала богине отныне и до века! – проговорили купцы. – Что может быть яснее ее предвещения?

Подняв руку, чтобы заставить народ умолкнуть, так как священные обряды Исиды требовали полного безмолвия, весьма трудного для подвижных, живых помпейцев, главный жрец совершил возлияние на жертвенник, и после краткой заключительной молитвы церемония окончилась.

Толпа рассыпалась, но египтянин остался у решетки. Когда все разошлись, к нему подошел один из жрецов и приветствовал его с дружеской фамильярностью.

Наружность этого жреца была замечательно неприглядная. Его бритый череп был так сдавлен, лоб так узок, что голова по своей форме приближалась скорее к типу африканского дикаря. Только на висках, в этом органе стяжения, как называют его последователи науки, по названию современной, но более практически знакомой древним (как мы видим из их скульптурных произведений), только на висках выступали какие-то неестественные выпуклости, еще более безобразившие эту уродливую голову: вокруг бровей кожа была собрана в тонкие, глубокие морщины, глаза, маленькие и темные, вращались в желтом, мутном белке. Нос вздернутый и неправильный, с раздутыми, как у сатира, ноздрями, толстые, бледные губы, выдающиеся скулы, синеватые грязные пятна на коже цвета пергамента дополняли наружность, на которую нельзя было смотреть без отвращения. Многим она внушала ужас и недоверие. Казалось, каковы бы ни были помыслы его ума, – тело способно было их выполнить: крепкие мускулы шеи, широкая грудь, жилистые, сухощавые руки, обнаженные по локоть, указывали на натуру, способную и на громадную энергию, и на пассивную выносливость.

– Калений, – обратился египтянин к уродливому жрецу, – я замечаю, ты воспользовался моим советом и значительно усовершенствовал голос богини. Да и стихи твои не дурны. Всегда предсказывай счастье, разве только уже не предвидится никакой возможности к осуществлению доброго предвещения.

– К тому же, – прибавил Калений, – если в самом деле случится буря и если даже погибнут проклятые суда, – разве мы не предсказали этого? И разве не правда, что судам будет хорошо, если они успокоятся навеки? Об успокоении молит мореплаватель, так, по крайней мере, говорит Гораций: «Моряку не может быть так спокойно на море, как на дне его».

– Справедливо сказано, Калений. Хотелось бы мне, чтобы Апекидес научился у тебя мудрости. Но мне надо поговорить с тобой относительно его и разных других предметов. Не можешь ли ты принять меня в менее священном месте?

– Конечно, – отвечал жрец, проводя его в одну из небольших келий, помещавшихся вокруг решетки.

Там они уселись у маленького столика, уставленного блюдами с фруктами, яйцами, холодным мясом, сосудами с превосходным вином. В то время как приятели стали угощаться, занавеска, задернутая в дверях, выходивших во двор, скрывала их из виду, но вместе с тем заставляла их или разговаривать тихо, или же не говорить никаких секретов. Они выбрали первое.

– Ты знаешь, – начал Арбак тихим, едва слышным голосом, так он был мягок и глух, – что я всегда имел склонность к молодежи. Из их гибких, не сложившихся умов я удобнее всего могу создавать себе орудия. Я гну их, скручиваю, леплю, как мне угодно. Из мужчин я делаю себе приверженцев и слуг, из женщин...

– Любовниц, – подсказал Калений, и противная улыбка разлилась по его невзрачным чертам.

– Да, не скрою – женщина главная цель, высшее стремление души моей. Подобно тому, как вы откармливаете жертву на убой, так и я люблю воспитывать жертв, предназначенных для моего наслаждения. Мне нравится образовывать их ум, лелеять расцвет их скрытых страстей, чтобы созрел плод по моему вкусу. Ненавижу ваших готовых, уже созревших куртизанок.

По-моему, истинная прелесть любви заключается в постепенном, бессознательном переходе от невинности к страсти. Таким образом я не боюсь пресыщения. Любуясь свежестью и непорочностью других, я поддерживаю свежесть своих собственных ощущений. Из юных сердец моих жертв я черпаю те материалы, которые служат мне для обновления моей собственной молодости.

Но довольно об этом, перейдем к делу. Тебе известно, что несколько времени тому назад я встретил в Неаполисе Иону и Апекидеса, – брата и сестру, детей афинян, переселившихся в Неаполис. После я сделался опекуном молодых людей. Я добросовестно исполнял свои обязанности. Юноша, мягкий и послушный, легко поддавался моему влиянию. После женщин я более всего люблю воспоминания о моей древней отчизне. Я люблю сохранять и распространять в далеких странах (быть может, до сих пор населенных ее колонистами) ее мрачные, мистические верования. Служа богам, я вместе с тем нахожу наслаждение морочить людей. Я посвятил Апекидеса в великую веру Исиды. Я открыл ему некоторые чудные, таинственные аллегории, скрывающиеся в ее культуре. Я возбудил в душе его, особенно склонной к религиозному чувству, тот энтузиазм, который создается пылким воображением. Я ввел его в вашу среду, и теперь он один из ваших.

– Он наш, – отвечал Калений, – но, возбуждая в нем веру, ты помрачил его рассудок. Он ужасается, узнав, что все это обман: наши мудрые уловки, наши говорящие статуи и потайные лестницы смущают его и приводят в негодование. Он мучается, тоскует, говорит сам с собою, отказывается участвовать в наших церемониях. Говорят, он посещает общество людей, подозреваемых в принадлежности к новой атеистической вере, отрицающей всех наших богов, называющей наших оракулов внушениями злого духа, о котором говорит восточное предание. Наши оракулы! Увы, нам хорошо известно, откуда они черпают свое вдохновение!

– Вот этого-то я и боялся, – молвил Арбак задумчиво, – судя по упрекам, которые он высказал мне в последнее наше свидание. С некоторых пор он избегает меня. Но я должен пойти к нему и продолжать свои уроки. Я введу его в святилище Разума. Я научу его, что есть две стадии святости, первая – вера, вторая – обман, первая для профана, вторая для мудреца.

– Я никогда не проходил через первую стадию, – возразил Калений, – да и ты также, я полагаю, Арбак?

– Ошибаешься, – отвечал египтянин с важностью. – Я до сих пор верю (не в то, чему я учу, а в то, чему я не учу). В природе заключается нечто священное, чего я не могу и не хочу отрицать. Я верю в свое собственное знание и в то, что оно открыло мне, – но не в этом дело. Обратимся к более земным и привлекательным предметам. Я достиг своей цели относительно Апекидеса, но каковы были мои планы, что касается Ионы? Ты, вероятно, угадываешь, что я намерен сделать ее своей царицей, своей супругой, Исидой моего сердца.

До того дня, как я увидел ее, я не знал всей силы любви, на какую способна моя натура.

– Я слышу со всех стороны, что это какая-то новая Елена, – сказал Калений и плотоядно причмокнул губами, в честь ли красоты Ионы или от выпитого вина – решить трудно.

– Да, красота ее такова, что во всей Греции никогда не бывало ничего подобного, – отвечал Арбак. – Но этого мало: у нее душа, достойная слиться с моей душой. Она одарена гением, неожиданным в женщине, умом смелым, живым, ослепительным. Поэзия так и льется из уст ее. Стоит высказать какую-нибудь истину, хотя бы самую глубокомысленную и сложную, – ум ее сразу схватывает ее и овладевает ею. Воображение и разум у нее не в разладе. Они гармонируют между собою и вместе направляют ее, подобно тому, как ветер и волны управляют величавым кораблем. При всем том она обладает смелой независимостью мысли: она может сама руководить своей жизнью. Она настолько же мужественна, как и кротка. Такой характер я всю жизнь искал в женщине и до сих пор еще не находил. Иона должна быть моею! Я люблю ее двойной страстью. Я желаю насладиться красотой души настолько же, как и красотой тела.

– Значит, она еще не твоя? – спросил жрец.

– Нет. Она любит меня, но как друга, одним умом. Она предполагает во мне те жалкие добродетели, которые я презираю. Но продолжаю ее историю. Брат и сестра молоды и богаты: Иона горда и честолюбива. Горда своим умом, очарованием своего поэтического дара и прелестью своей беседы. Когда брат ее расстался со мною и поступил в ваш храм, она тоже переселилась в Помпею, чтоб быть к нему поближе. Слава о ее таланте быстро распространилась. На ее пирах толпятся гости. Ее голос очаровывает их, стихи – приводят в восторг. Ей нравится слыть преемницей Эринны.

– Или Сафо?

– Но Сафо – без любви! Я сам поощрял ее в этой рассеянной жизни, полной тщеславия и удовольствий.

Мне нравилось, что она предается развлечениям и роскоши этого разгульного города. Заметь, Калений! Мне хотелось раздражить, утомить ее душу! Она была чересчур чиста, чтобы воспринять то дыхание, которое должно, по моим желаниям, не только коснуться, но и глубоко вьестись в это чистое зеркало. Я хотел нарочно окружить ее поклонниками – пустыми, пошлыми, легкомысленными (по натуре своей она должна презирать их) для того, чтобы она ощутила потребность в истинной любви. И тогда, в промежутки утомления, всегда следующего за возбуждением, я могу действовать на нее своими чарами, внушить ей интерес, пробудить в ней страсть, овладеть ее сердцем. Не молодость, не красота, не веселье способны привлечь Иону. Надо поразить ее воображение, а вся жизнь Арбака была постоянным торжеством над людским воображением.

– И ты не боишься соперников? Итальянские франты большие мастера в искусстве нравиться.

– Никого не боюсь! Душа гречанки презирает варваров римлян. Она возненавидела бы самое себя, если б допустила даже мысль увлечься одним из сынов этой породы выскочек.

– Но ведь ты египтянин, а не грек!

– Египет, – возразил Арбак, – мать Афин. Их покровительница, Минерва, – наше божество. Основатель их Кекропс был выходцем из Египта. Этому я всегда учил Иону. В моей крови она почитает древнейшую династию на земле. Однако я должен сознаться, что за последнее время в душу мою закралось тревожное подозрение. Она стала молчаливее обыкновенного. Она склонна к меланхолии и к тихой, грустной музыке, она часто вздыхает без всякой видимой причины. Быть может, это начало увлечения, если только не простая потребность в любви. В обоих случаях пора мне начать действовать на ее сердце и воображение: в первом случае, чтобы обратить на себя источник любви, а во втором – чтобы пробудить эту любовь. Вот почему я подумал о тебе.

– Но чем же могу я помочь?

– Я намерен пригласить ее на пир к себе в дом: мне хочется ослепить, поразить ее, воспламенить ее чувства. Надо прибегнуть к нашему искусству, к тому искусству, при помощи которого Египет соблазняет новопосвященных. И под покровом религиозных тайн я хочу раскрыть ей тайны любви.

– Ага, понимаю! Ты хочешь устроить одно из тех сладострастных пиршеств, на которых присутствовали в твоём доме и мы, жрецы Исида, несмотря на свои страшные клятвы об умерщвлении плоти.

– Нет, нет! Неужели ты мог думать, что ее чистый взор уже способен видеть подобные зрелища? Нет. Прежде всего надо обольстить ее брата... задача более легкая. Выслушай хорошенько мои инструкции.

V. Опять о цветочнице. – Успехи любви

Солнце весело освещало красивую комнату в доме Главка, названную после раскопок «комнатой Леды». Утренние лучи проникали сквозь мелкие оконца в верхней части комнаты и в дверь, выходящую в сад: последний играл такую же роль у жителей южных городов, как у нас теплицы и оранжереи. Размеры его были настолько малы, что он не годился для прогулок, но наполнявшие его разнообразные и благоухающие растения делали его любимым, роскошным местом отдохновения для жителей жаркого климата, склонных к лени и праздности. Легкий ветерок с соседнего моря доносил из сада ароматы в красивую комнату, стены которой соперничали в ярких красках с самыми роскошными цветами. Кроме лучшего перла в ее убранстве – картины Леды и Тиндара, прочие стены украшались также картинами замечательной красоты. На одной из них был изображен Купидон, приютившийся на коленях у Венеры. На другой – Ариадна, спящая на берегу моря, не подозревая измены Тезея. Весело играли солнечные лучи на мозаичном полу и на блестящих стенах, но еще радостнее было на душе у юного Главка.

– Итак, я увидел ее, – говорил он сам с собою, рассказывая взад и вперед по небольшой комнате, – я слышал ее, я говорил с ней, я наслаждался дивной музыкой ее голоса, и она воспевала славу Греции. Наконец-то я нашел давно желанный кумир моих грез! И, подобно кипрскому ваятелю, я вдохнул жизнь в создание своей мечты.

Долго продолжался бы страстный монолог влюбленного, но в эту минуту чья-то тень мелькнула на пороге, и уединение Главка было нарушено появлением молодой девушки, по летам почти ребенка. Она была одета в простую белую тунику, ниспадавшую от шеи до щиколоток. В одной руке она держала корзину с цветами, а в другой – бронзовую вазу с водой. Черты ее лица были сложившиеся не по возрасту, тем не менее мягкие, женственные. Неправильные сами по себе, они казались красивыми, благодаря необыкновенной прелести выражения. В ее лице было что-то неизъяснимо трогательное, оно привлекало выражением кроткого терпения. Черта затаенной грусти согнала улыбку с ее уст. Что-то нерешительное и робкое в походке и несколько блуждающий взор очей заставлял подозревать недуг, которым она страдала с детства: она была слепа, но в самих глазах ее не было заметно никакого недостатка – они сияли меланхолическим, матовым блеском, чистым и безоблачным.

– Мне сказали, что Главк здесь, – могу я войти? – спросила она.

– А! Нидия, это ты? – сказал грек. – Я был уверен, что ты не забудешь моего приглашения!

– Рассчитывая на это, Главк только отдает справедливость самому себе, – он всегда был так добр к бедной слепой девушке.

– Да и кто мог бы относиться к ней иначе? – отвечал Главк с нежным, братским состраданием.

Нидия вздохнула и, помолчав немного, проговорила, не отвечая на его замечание:

– Ты недавно вернулся?

– Сегодня в шестой раз я вижу солнце в Помпее.

– Здоров ли ты? Впрочем, лишнее об этом спрашивать: может ли быть болен тот, кто видит землю, которая так прекрасна, как уверяют?

– Я здоров, а ты, Нидия? Но как ты выросла! В будущем году тебе придется задумываться над ответами твоим поклонникам!

Снова яркая краска залила щеки Нидии, но, вспыхнув, она нахмурила брови.

– Я принесла тебе цветов, – молвила она, опять не отвечая на замечание, очевидно, сильно взволновавшее ее. Ощупав руками столик возле Главка, она поставила на него корзину:

– Цветы мои скромны, зато свежи, – сейчас только что сорваны.

– Если б сама Флора принесла их мне в дар, и тогда я не мог бы так обрадоваться им, – отвечал он ласково, – повторяю свою клятву грациям, что не буду носить иных гирлянд, кроме тех, что сплетены твоими руками.

– А как ты нашел цветы в твоём виридариуме? Хорошо они растут?

– Удивительно! Вероятно, сами лары ухаживали за ними!

– Ты радуешь меня – ведь я приходила, как только могла найти досуг, поливать их в твоё отсутствие.

– Как мне благодарить тебя, прелестная Нидия? – Главку и во сне не снилось, что найдется в Помпее добрая душа, которая вспомнит о его любимцах!

Руки девочки задрожали, а грудь ее заволновалась под туникой. Она отвернулась в смущении.

– Нынче солнце слишком сильно печет, это вредно для бедных цветочков, – промолвила она. – Я не должна забывать их. Я была больна и вот уже десять дней не приходила навещать их.

– Больна, Нидия! Но твои щеки стали румянее прежнего.

– Я часто хвораю, – отвечала слепая трогательным тоном, – и с годами все сильнее и сильнее грущу о своей слепоте... Но надо позаботиться о цветах.

С этими словами она слегка наклонила голову в знак приветствия и, пройдя в виридариум, занялась поливкой цветов.

«Бедняжка Нидия! – подумал Главк, глядя ей вслед. – Тяжела твоя участь! Не видишь ты ни земли, ни солнца, ни океана, ни звезд, а что всего хуже – не можешь видеть Ионы!..»

При этом воспоминании мысли его обратились ко вчерашнему вечеру. Но снова мечтания его были прерваны, – на этот раз приходом Клавдия. Насколько в один вечер усилилась и изошрилась любовь афинянина к Ионе, доказывает то, что хотя прежде он доверил Клавдию тайну первого свидания с нею и впечатление, произведенное ею на его сердце, – теперь же, напротив, он чувствовал непреодолимое отвращение при одной мысли упомянуть даже ее имя перед своим приятелем. Он видел Иону чистой, блестящую, прекрасную среди самой бесшабашной, легкомысленной молодежи Помпеи. Но даже самых развратных она умела обуздать, возбудить в них уважение к себе, не страхом, а очарованием, умела изменить натуру людей, наиболее чувственных и менее всего склонных к идеальному созерцанию: своим нравственным и благородным очарованием она, как Цирцея, только в обратном смысле, обращала животных в людей. Кому недоступно было понять ее душу, тот подчинялся духовному обаянию ее красоты, а кто не обладал чутким сердцем, чтобы понять ее стихи, имел, по крайней мере, уши, чтобы упиваться мелодией его голоса. Видя ее в таком обществе, очищающей и облагораживающей все окружающее своим присутствием, Главк, быть может, впервые понял благородство своего собственного характера, – он ясно почувствовал теперь, насколько недостойны богини его мечты все его товарищи и его образ жизни. Точно завеса спала с его глаз. Он увидел неизмеримую пропасть, отделявшую его от приятелей и скрытую до сих пор в обманчивом тумане наслаждений. Мужество, с каким он стремился обладать Ионой, возвышало его в собственных глазах. Он сознавал, что отныне судьба повелевает ему смотреть вверх и парить в выси. Он уже не мог произносить перед пошлым, непосвященным ухом это имя, звучавшее в его пылком воображении как нечто священное, божественное. Она уже не была для него просто красивой девушкой, которую он когда-то увидал и о которой вспоминал с увлечением, – она была божеством, царицей его души. Кто не испытал подобного чувства? Тот, кто никогда не знал его, никогда не любил!

Поэтому, когда Клавдий, с аффектированным восхищением, заговорил о красоте Ионы, Главк почувствовал лишь гнев и отвращение, что такие уста осмеливаются расхваливать ее. Он отвечал холодно, а римлянин вообразил, что страсть в нем потухла, вместо того, чтобы усилиться. Едва ли Клавдий сожалел об этом: ему хотелось, чтобы Главк женился на более богатой наследнице, на Юлии, дочери богача Диомеда, золото которого игрок мечтал припрятать в свои

собственные сундуки. На этот раз разговор их не отличался обычной непринужденностью. И только что Клавдий ушел, как Главк направился к жилищу Ионы. На пороге своего дома он опять встретился с Нидией, окончившей поливку цветов. Она тотчас же узнала его шаги.

– Как рано ты собрался выйти из дому?

– Да, небеса Кампании не любят ленивцев, пренебрегающих ими.

– О, зачем не могу и я полюбоваться ими! – прошептала слепая, но так тихо, что Главк не расслышал ее жалобы.

Бессалийка простояла несколько минут на пороге и затем, ощупывая дорогу длинной палкой, которой она владела с замечательной ловкостью, направилась домой. Вскоре она повернула из пышных улиц в квартал, мало посещаемый изящными, порядочными людьми. Впрочем, ее недуг спасал ее от неприятности видеть вокруг себя низкое, грубое зрелище порока. В этот час, однако, на улицах было тихо и спокойно. Ее юное ухо не оскорблялось звуками, слишком часто раздававшимися в этих темных, бесстыдных убежищах разврата, мимо которых она проходила с тихой, терпеливой грустью.

Она постучалась в заднюю дверь дома, где помещался род таверны, и грубый голос тотчас же потребовал у нее ответа о собранных сестерциях. Не успела она ответить, как другой голос, менее вульгарный, проговорил:

– Полно, Бурбо, брось эти мелочные расчеты... Скоро опять понадобится голос нашей девочки на пиру у нашего богатого друга, а ты знаешь, он дорого платит за соловьиные языки.

– О, надеюсь, что нет! – воскликнула Нидия, дрожа всем телом. – Я скорее готова просить милостыню с утра до вечера, только не посылайте туда!

– Почему же? – спросил грубый голос.

– Потому что... Потому что я молода, из хорошей семьи, а женщины, которых я там встречаю, – неподходящее общество для... для...

– Для рабыни из дома Бурбо, – перебил иронический голос с грубым смехом.

Бессалийка поставила цветы на пол и, закрыв лицо руками, молча заплакала.

Между тем Главк направился к дому красавицы неаполитанки. Она застала Иону окруженной своими прислужницами, работавшими возле. Рядом стояла арфа. В это день сама Иона была ленивее, а может быть, и задумчивее обыкновенного. При дневном свете, в простом наряде, она показалась ему еще более красивой, нежели при ярком блеске ламп и разукрашенная драгоценными камнями, как вчера вечером. Легкая бледность, разлитая по ее прозрачному лицу, сменилась румянцем при его приближении. Хотя Главк привык льстить, но в присутствии Ионы лесть замерла на его губах. Он чувствовал, что недостойно ее выражать словами то, что она и без того угадывает в его глазах. Они заговорили о Греции. На эту тему Иона еще более любила слушать, нежели говорить, а красноречие Главка было неистоимым. Он описывал ей серебристые оливковые рощи на берегах Илисса, окружающие храмы, уже лишенные прежнего величия, но все еще прекрасные в своем упадке! Он вспоминал о печальном городе Гармодия, поборника свободы Перикла Великолепного, и в этих отдаленных воспоминаниях все грубые, темные тени сливались в один общий мягкий, грустный тон. Он видел страну поэзии как раз в самые поэтические годы ранней юности, и патриотические чувства смешивались в его сердце с отрадными воспоминаниями весны его жизни. Иона слушала его молча, погруженная в задумчивость. Эти рассказы, эти описания были ей дороже всех похвал, которые щедро расточали перед ней бесчисленные обожатели. Ведь не грех любить своего соотечественника? Она любила в нем Афины. Его устами говорили боги ее народа, страны ее мечты! С этих пор они виделись каждый день. В прохладные сумерки они предпринимали прогулки по тихому, безмятежному морю. Вечером они опять встречались под портиком и в залах жилища Ионы. Любовь их была внезапна, но сильна, она наполняла всю их жизнь. Сердце, ум, чувства – все подчинялось этой страсти. Если уничтожить препятствия, разделяющие два существа, чувствующие взаимное влечение друг к другу, они тотчас же встречаются и соединяются. Они

удивлялись только одному, как они могли так долго прожить врозь. Им казалось вполне естественным любить друг друга. Оба молодые, красивые, даровитые, одинакового происхождения и с родственными душами, – сколько поэзии было в их союзе! Сами небеса как будто радовались их любви. Подобно тому, как гонимый ищет убежища в храме, так и они считали алтарь своей любви прибежищем от всех земных горестей. Они покрывали его цветами, не подозревая, что под этими цветами могут притаиться змеи.

Однажды вечером, на пятый день после их первой встречи в Помпее, Главк и Иона, с небольшим обществом избранных друзей, возвращались с экскурсии по бухте. Их лодка грациозно скользила по гладкой, как зеркало, поверхности воды. Тишина нарушалась только ударами весел. В то время как остальное общество весело беседовало, Главк лежал у ног Ионы и не смел взглянуть ей в лицо. Она первая прервала молчание.

– Бедный брат мой, – промолвила она, вздыхая, – как он наслаждался бы прелестью этих минут!

– Твой брат! – сказал Главк. – Я еще не видел его. Занятый исключительно тобой, я не помышлял ни о чем другом, иначе осведомился бы, не он ли приходил за тобой тогда в храм Минервы, в Неаполисе?

– Это был он.

– Теперь он здесь?

– Да.

– Как, в Помпее и не с тобой? Может ли быть?

– У него другие обязанности, – отвечала Иона с грустью. – Он жрец Исиды.

– Так молод, а жреческое сословие, по уставу, по крайней мере, подчинено таким строгостям! – проговорил мягкосердный, пылкий грек, с состраданием и удивлением. – И что заставило его на это решиться?

– Он всегда отличался энтузиазмом и религиозным усердием. А красноречие египтянина, нашего друга и опекуна, пробудило в нем благочестивое желание посвятить жизнь свою самому мистическому нашему божеству. Быть может, в избытке рвения он находит, что строгость этого культа и составляет его главную притягательную силу.

– Он не раскаивается в своем выборе? Надеюсь, он счастлив?

Иона глубоко вздохнула и опустила покрывало на глаза.

– Мне жаль, что он поторопился! – заметила она, помолчав. – Может быть, как и все, кто многого ожидает, он слишком легко разочаруется!

– Так, значит, он несчастлив в своем новом положении? А этот египтянин, был он сам жрецом? Имел ли он какой-нибудь интерес в том, чтобы вербовать новых членов в жреческое сословие?

– Нет. Главной его заботой было наше благополучие. Он думал, что составит счастье моего брата. Мы остались круглыми сиротами.

– Как и я, – сказал Главк многозначительным тоном.

Иона потупила глаза, продолжая:

– Арбак старался заменить нам отца. Ты должен познакомиться с ним. Он любит людей даровитых.

– Арбак? Я уже познакомился с ним. По крайней мере, мы разговариваем, встречаясь. Но если б не твоя похвала, я бы и не старался узнать его ближе. Вообще я легко схожусь с людьми. Но при этом смуглом египтянине, с мрачным лицом и ледяной улыбкой мне кажется, как будто меркнет солнечный свет. Можно подумать, что он, как критянин Эпименид, провел сорок лет в подвале и после этого находит дневной свет неестественным.

– Нет, подобно Эпимениду, он добр, разумен и кроток, – отвечала Иона.

– О, счастлив тот, кто заслужил твою похвалу! Ему не требуется другой добродетели, чтоб быть дорогим и для меня.

– Его спокойствие, его холодность, – сказала Иона, уклончиво преследуя свою мысль, – быть может, последствия вынесенных страданий. Так же точно эта гора (она указала на Везувий), которую мы видим столь темной и спокойной в отдалении, когда-то дышала огнем, ныне угасшим.

Когда Иона говорила эти слова, оба невольно взглянули на вершину горы. В эту минуту небо было подернуто нежными розовыми тенями, но над серой вершиной, возвышавшейся среди лесов и виноградников, покрывавших склоны ее, повисло черное, зловещее облако, единственное мрачное пятно в ландшафте. Внезапная, безотчетная грусть вдруг запала им в душу. Повинуясь, при взаимной симпатии, которой уже научила их любовь, и побуждая их, при малейшей тени волнения, при малейшем предчувствии несчастья, искать убежище друг у друга, взоры их в одно и то же мгновение встретились с неизъяснимой нежностью. Им не нужно было слов, чтобы выразить свою любовь.

VI. Птицелов снова захватывает в свои сети ускользнувшую птицу и расставляет западню для новой жертвы

В нашем рассказе события быстро чередуются друг за другом, как в драме. Я описываю такую эпоху, когда в несколько дней созрели плоды, которым в другое время нужны годы.

С некоторых пор Арбак редко приходил в дом Ионы, а когда посещал ее, то не встречался с Главком и не знал до сих пор о любви, столь неожиданно ставшей преградой к осуществлению его планов. Занятый братом Ионы, он на время принужден был отвлечься от самой Ионы. Его гордость и эгоизм были встревожены и задеты за живое внезапной переменой в настроении юноши. Он трепетал при мысли, что может лишиться покорного ученика, а Исида – восторженного служителя. Юношу редко можно было встретить. Он угрюмо отворачивался от египтянина и даже убегал, увидев его издали. Арбак принадлежал к числу тех надменных и сильных характеров, которые привыкли властвовать над другими. Его возмущала мысль, что существо, которое он считал всецело своим, могло ускользнуть из-под его власти, и он поклялся в душе, что Апекидесу не удастся вырваться.

С такими мыслями он проходил по роще, отделявшей его дом от дома Ионы, куда он направлялся. Тут он нечаянно встретил молодого жреца Исиды, стоявшего, опершись о ствол дерева. Глаза его были опущены в землю, и он не заметил приближения египтянина.

– Апекидес! – окликнул его тот, ласково положив руку на плечо молодого человека.

Жрец вздрогнул, инстинктивно порываясь бежать.

– Сын мой, – продолжал египтянин, – что случилось, что ты избегаешь меня?

Апекидес угрюмо молчал, потупив глаза. Губы его дрожали, грудь тяжело дышала.

– Выскажи мне все, друг мой, – сказал египтянин. – Говори. Что-то лежит у тебя на душе.

Что можешь ты открыть мне?

– Тебе ничего!

– Почему же ты не хочешь довериться мне?

– Потому что ты был бы мне врагом.

– Объяснимся, – промолвил Арбак тихим голосом и, взяв под руку сопротивлявшегося жреца, он повел его к одной из скамеек, расставленных в саду.

Они сели. Их мрачные фигуры вполне соответствовали уединенному, тенистому месту.

Апекидес переживал весеннюю пору юности, но на вид казался более отжившим, нежели сам египтянин, его нежные, правильные черты были истомлены и бесцветны, впалые глаза блестели лихорадочным блеском. Стан преждевременно сторбился, руки его были малы, как у женщины, а синие вспухшие жилы обличали слабость и истощение. Лицо его поражало сходством с Ионой, но выражение было совсем иное, – в нем не было величавого душевного спокойствия, придававшего такую дивную, классическую прелесть красоте его сестры. В ней хотя и сквозил энтузиазм, но сдержанный, скрытый. В этом и заключалась главная прелесть, главное очарование ее наружности. Вид ее внушал желание пробудить душу спокойную, безмятежную, но, очевидно, не заснувшую. Во внешности Апекидеса все обличало, напротив, страстный, увлекающийся темперамент. Дикий огонь в глазах, ширина висков, сравнительно с размерами лба, беспокойное выражение дрожащих губ – все это указывало на то, что ум его всецело подчинен пылкой фантазии и стремлениям к идеалу. Воображение сестры его остановилось на золотом пороге поэзии, брата же, менее счастливого, оно кинуло в область смутных, фантастических видений. То самое качество, которое одаряло Иону гением, грозило ее брату безумием.

– Ты говоришь, что я тебе враг, – сказал египтянин. – Я знаю причину такого несправедливого обвинения: я ввел тебя в среду жрецов Исиды, и ты возмущен их плутовством и

обманами. Ты думаешь, что и я тоже обманывал тебя, твоя чистая душа оскорблена, ты воображаешь, что я такой же обманщик...

– Ты знал все фокусы этого нечестивого культа, – отвечал Апекидес, – к чему ты скрывал их от меня? Когда ты возбудил во мне желание посвятить себя званию, к которому я теперь принадлежу, ты толковал мне о святой жизни этих людей, отдавшихся знанию, а, вместо того, ты бросил меня в какое-то невежественное, чувственное стадо, не ведающее никакой науки, кроме самого грубого обмана. Ты говорил мне о людях, жертвующих светскими удовольствиями ради высшего культа добродетели, – а поставил меня в среду людей, погрязших в пороке. Ты говорил мне о друзьях, просветителях рода человеческого, – а я вижу от них один обман и плутовство! О, какой низкий поступок! Ты отнял у меня высшее благо юности – веру в добро, святую жажду знания. Я был молод, пылок, богат, передо мною были все наслаждения земные, но я от всего отрекся без сожаления, – мало того, отрекся с радостью и восторгом, в уверенности, что жертвую всем ради сокровенных тайн божественной мудрости, ради сообщества с богами, ради небесного откровения, – вдруг, теперь...

Голос жреца оборвался судорожными рыданиями. Он закрыл лицо руками, крупные слезы закапали на грудь сквозь исхудалые пальцы.

– Все, что я обещал, – я дам тебе, друг мой, питомец мой! Все это было лишь испытанием твоей добродетели. Теперь кончен твой искуc. Перестань думать об этих жалких обманщиках. Настало время, когда ты не будешь иметь ничего общего с этой низкой челядью богини, со слугами преддверия ее храма, ты достоин проникнуть в самое святилище. Отныне я сам буду твоим жрецом, твоим руководителем, и ты, в настоящую минуту проклинаящий мою дружбу, скоро будешь благословлять ее.

Молодой человек поднял голову и растерянным, изумленным взором уставился на египтянина.

– Выслушай меня, – продолжал Арбак серьезным, торжественным тоном, пытливо озираясь, не подслушивает ли их кто-нибудь. – Из Египта исходит вся наука мира. Из Египта возникла ученость Афин и глубокомысленная политика Крита. Из Египта явились таинственные племена, которые (еще задолго перед тем, как римские полчища заволокли равнины Италии и отодвинули назад цивилизацию во мрак варварства) владели всеми отраслями знания и сокровищами интеллектуальной жизни. А как ты полагаешь, юноша, каким путем этот могущественный Египет, прародитель бесчисленных наций, достиг своего величия, воспарил на облачные вершины мудрости знания? Это результат глубокой, священной политики. Ваши современные нации обязаны своим величием Египту, а Египет своим величием – жрецам. Стремясь властвовать над благороднейшими чувствами человека, над его душой и верой, эти древние слуги богов были воодушевлены самой грандиозной идеей, когда-либо овладевавшей смертными. По течению звезд, по временам года, по вечному, неизменному кругу человеческих судеб они изобрели дивную аллегию. Они сделали ее осязаемой, доступной для толпы, воплотив ее в образы богов и богинь, и то, что в сущности было правительством, они называли Религией. Исида – басня (не вздрагивай! слушай!), Исида – ничего. Но природа, которую она олицетворяет, есть мать всего живущего, – таинственная, сокровенная, непостижимая ни для кого, кроме немногих избранных. «Никто из смертных никогда не подымал моего покрывала» – так говорит Исида, которой ты поклоняешься. Но для мудреца покрывало это приподымалось, и нам дано было стать лицом к лицу с великими чарами Природы. Тогда жрецы были благодетелями, просветителями рода человеческого. Правда, они были также обманщиками, плутами, если хочешь. Но подумай, молодой человек, если б они не морочили людей, они не могли бы служить им. Невежественная, раболепная толпа должна быть ослепляема на ее же пользу. Она не поверила бы истине, но она поклоняется оракулу. Римский император властвует над многочисленными и разнообразными племенами земными и приводит в гармонию враждующие и разъединенные элементы, – отсюда проистекает мир, законность, блага жизни. Тебе кажется,

что господствует таким образом сам человек, император римский? Нет, окружающее его величие, пышность, трепет, внушаемый его саном, – вот иллюзии, вот средства, с помощью которых он управляет народами. Так точно наши оракулы и прорицания, наши обряды и церемонии – вот наши средства к господству, орудия нашего могущества. Это те же способы для достижения одной и той же цели – благоденствия и гармонии среди рода человеческого. Я замечаю, ты слушаешь меня с напряженным вниманием и упоением – мысли твои начинают проясняться.

Апекидес молчал, но менялся в лице, и на выразительных чертах его можно было прочесть, какое сильное впечатление произвели на него слова египтянина, слова, красноречие которых становилось еще убедительнее благодаря звуку голоса, выражению лица и вкрадчивым манерам Арбака.

– Вот так-то, – продолжал египтянин, – наши отцы на Ниле достигли первых условий, необходимых для уничтожения хаоса, а именно повиновения и уважения толпы к немногим избранным. Из своих глубоких созерцаний и наблюдений над звездами они извлекли мудрость, которая уже не есть обман: они составили законы, измыслили искусства и все блага, скрашивающие жизнь. Они требовали веры и взамен ее давали цивилизацию. Да разве самый их обман не был добродетелью? Поверь мне, кто бы ни взглянул с тех далеких небес на наш мир, с улыбкой одобрил бы мудрость, достигшую подобных результатов. Но ты желаешь, чтобы я применил эти общие истины к тебе самому, – изволь! Спешу исполнить твое желание. Для храма богини нашей древней веры нужны служители и не такие служители, как эти бездушные, тупоумные создания, которых можно уподобить разве только колышкам и крючьям для вешания платья и поясов. Вспомни два изречения Секста пифагорейца, изречения, почерпнутые из египетской мудрости. Первое: «Не говори только о боге», а второе: «Человек, достойный бога, – есть бог среди людей». Подобно тому, как при помощи гения жрецы Египта сумели распространить веру, так сильно упавшую за последние века, так и теперь нужен гений для восстановления прежнего могущества. Я увидел в тебе, Апекидес, ученика, достойного моих уроков, – служителя, достойного высших целей. Твоя энергия, твои дарования, чистота твоей веры, твой искренний энтузиазм – все это делало тебя способным к призванию, требующему именно таких высоких и пылких качеств: поэтому я способствовал твоим святым желаниям и побуждал тебя совершить решительный шаг. Но ты осуждаешь меня за то, что не открыл тебе малодушия и фокусничества твоих товарищей. Если бы я это сделал, Апекидес, я не мог бы достигнуть цели: твоя благородная натура возмутилась бы сразу, и Исида лишилась бы жреца.

Апекидес громко застонал. Египтянин продолжал, не обращая внимания на перерыв.

– Вот почему я без всякой подготовки поместил тебя в храм. Я предоставил тебе самому раскрыть возмутительные комедии, которые и морочат, и ослепляют людское стадо. Я желал, чтобы ты сам увидел, как действует механизм фонтана, струями своими освежающего мир. Это искус, обязательный для всех наших жрецов. Те, кто привыкает к морочению толпы, тот и остается при этом занятии. Но для таких натур, как твоя, требующих более возвышенных целей, – религия раскрывает божественные тайны. Меня радует, что я не ошибся в твоём характере. Ты произнес обет, тебе нельзя отступить. Иди вперед, я буду твоим руководителем.

– Чему же ты еще научишь меня, странный, опасный человек? Новому плутовству, новым...

– Нет, я бросил тебя в бездну неверия, а теперь я возведу тебя на вершину веры. Ты видишь фальшь, теперь узнаешь истины, которые она покрывает. Не может быть тени, Апекидес, если нет сущности. Приходи ко мне сегодня ночью. Твою руку!

Взволнованный, возбужденный, очарованный речами египтянина, Апекидес протянул ему руку. Учитель и ученик расстались.

Действительно, для Апекидеса уже не могло быть отступления. Он произнес обет безбрачия. Он посвятил себя жизни, дававшей ему пока только суровость фанатизма, без утешительной веры. Весьма понятно, что он чувствовал горячее желание примириться с неизбеж-

ной карьерой. Глубокий, могучий ум египтянина опять приобрел влияние над его юношеским воображением, возбудил в нем какие-то смутные догадки, поддерживая в нем постоянные колебания между надеждой и страхом.

Тем временем Арбак тихими, величавыми шагами продолжал свой путь к дому Ионы. Входя в табулум, он услышал из портика перистилия голос, который, несмотря на его мелодичность, прозвучал неприятно в его ушах, – то был голос молодого, красивого Главка, и впервые невольный трепет ревности закрался в сердце египтянина. В перистиле он застал Главка сидящим возле Ионы. Фонтан среди благоухающего сада вскидывал на воздух серебристые брызги, поддерживая очаровательную прохладу в знойный полдень. В некотором отдалении сидели прислужницы, почти никогда не оставлявшие Иону. При всей своей свободе она соблюдала величайшую скромность и сдержанность. У ног Главка лежала лира, на которой он играл для Ионы лесбийские мелодии. Картина, представшая глазам Арбака, носила отпечаток той особенной, утонченной поэзии, какую мы до сих пор вполне справедливо считаем отличительной принадлежностью древних, – мраморные колонны, вазы с цветами, белые мраморные статуи ограничивали перспективу, а на первом плане виднелись две живые фигуры, которые могли бы вдохновить ваятеля, или привести его в отчаяние!

Арбак, остановившись на минуту, смотрел на эту прекрасную пару, и чело его утратило свое обычное, невозмутимое спокойствие. Сделав над собой усилие, он оправился, подошел к ним, но такой тихой, беззвучной поступью, что даже прислужницы не слышали его, а тем более Иона и ее возлюбленный.

– А между тем, – проговорил Главк, – только пока мы еще не полюбили сами, мы воображаем, что поэты верно описывают страсть. Но чуть только взойдет солнце, сразу меркнут звезды, светившие в его отсутствие. Поэты существуют только до тех пор, пока в сердце ночь, но они для нас – ничто, когда мы внезапно почувствуем над собой власть бога любви.

– Прекрасное, чрезвычайно яркое сравнение, благородный Главк.

Оба вздрогнули, увидев за креслом Ионы холодное, саркастическое лицо египтянина.

– Неожиданный гость, – проговорил Главк, вставая с принужденной улыбкой.

– Как и следует быть всякому, кто уверен в радушном приеме, – отвечал Арбак, садясь и приглашая Главка сделать то же.

– Я рада, – заговорила Иона, – видеть вас обоих вместе. Вы так подходите друг к другу и созданы быть друзьями.

– Верните мне сперва лет пятнадцать жизни, – возразил Арбак, – а потом уже ставьте меня на одну доску с Главком. Я был бы рад приобрести его дружбу, но что могу я дать ему взамен? Способен ли я делать ему такие же признания, как он мне? Разве я могу говорить с ним о пиратах, гирляндах, парфянских конях и играть в кости? Такие удовольствия свойственны его возрасту, его натуре, его образу жизни, но они не для меня.

При этих словах хитрый египтянин потупил глаза и вздохнул, но украдкой взглянул на Иону, чтобы подметить, какое впечатление произведут на нее эти коварные намеки на жизнь и цели ее гостя. Но выражение ее лица, по-видимому, не понравилось египтянину. Главк слегка вспыхнул, весело поторопился отвечать. Может быть, и ему хотелось смутить и уколоть египтянина.

– Ты прав, мудрый Арбак, мы можем уважать друг друга, но едва ли между нами может быть дружба. На моих пирах недостает той таинственной соли, которая, если верить слухам, придает такое обаяние твоим празднествам. Клянусь Геркулесом! Когда я достигну твоих лет и, подобно тебе, пристращусь к удовольствиям зрелого возраста, я, без сомнения, также буду относиться саркастически к безумствам юности.

Египтянин поднял глаза на Главка и устремил на него пронизывающий взор.

– Я не понимаю тебя, – отвечал он холодно, – но теперь, кажется, принято нарочно затемнять остроумие.

Произнося эти слова, он отвернулся от Главка с едва заметной презрительной усмешкой и, помолчав немного, обратился к Ионе:

– Мне не посчастливилось, прекрасная Иона, застать тебя дома в те последние два-три раза, что я посетил тебя.

– Тихое, спокойное море часто манит меня из дому, – отвечала Иона с легким смущением.

Смущение это не ускользнуло от внимания Арбака, но, притворившись, что ничего не замечает, он отвечал с улыбкой:

– Ты знаешь, древний поэт сказал, что «женщинам следует сидеть дома и там вести беседу»⁷.

– Этот поэт был циник и ненавидел женщин, – заметил Главк.

– Он говорил, сообразуясь с нравами своей страны, а этой страной была ваша хваленая Греция.

– Иные времена – иные нравы. Если бы наши предки знали Иону, они создали бы другие законы.

– Уж не в Риме ли научился ты преподносить такие милые любезности? – спросил Арбак с плохо скрываемым волнением.

– Конечно, никто бы не поехал в Египет, чтобы учиться любезностям, – возразил Главк, небрежно играя цепочкой.

– Полно, полно, – вмешалась Иона, спеша прервать разговор, который, к ее великому огорчению, далеко не мог способствовать скреплению дружбы между Главком и ее другом. – Арбак не должен быть так строг к своей бедной воспитаннице. Оставшись сиротой, без материнских попечений, я, может быть, и заслуживаю порицания за мой независимый, свободный, чисто мужской образ жизни. Но ведь такой же свободой пользуются римские женщины, да и греческим следовало бы брать с них пример. Увы! Неужели только между мужчинами свобода и добродетель могут уживаться между собой? Почему рабство, пагубное для вас, мужчин, считается единственным средством, чтобы охранить нашу чистоту? Ах, поверьте мне, это было величайшей ошибкой со стороны людей, ошибкой, жестоко влиявшей на их судьбы, что они вообразили, будто женская натура настолько отличается от их натуры (я уже не говорю, что она ниже мужской), что создали законы, неблагоприятные для умственного развития женщины. Поступая так, разве они не действовали в ущерб своим детям, которых женщины обязаны воспитывать, в ущерб мужьям, которым жены должны служить подругами, иногда даже советниками?

Иона вдруг остановилась, и лицо ее покрылось очаровательным румянцем. Она испугалась, что слишком далеко зашла в своем энтузиазме. Однако она менее боялась сурового Арбака, нежели учтивого, светского Главка, потому что любила последнего. А у греков не было в обычае позволять женщинам (по крайней мере тем, которых они уважали) ту свободу, какой пользовались женщины в Италии. Поэтому она пришла в искренний восторг, когда Главк отвечал серьезным тоном:

– Желаю тебе всегда держаться этих мыслей, Иона, и пусть твое чистое сердце служит тебе руководителем. Счастлива была бы Греция, если б дала всем своим честным, целомудренным женщинам те интеллектуальные качества, которыми так славятся ее менее уважаемые красавицы. Никакое государство не может пасть от свободы знания, пока ваш пол будет поощрять свободу и мудрость.

Арбак молчал. Он не намерен был ни одобрить чувство Главка, ни порицать взгляды Ионы. После непродолжительного, натянутого разговора Главк простился с Ионой.

⁷ Еврипид.

Когда он ушел, Арбак, придвинув свое кресло поближе к молодой неаполитанке, заговорил мягким, вкрадчивым голосом, под которым он так искусно умел скрывать хитрость и черствость своего характера.

– Не думай, моя прелестная питомица (если смею так называть тебя), чтобы я хотел стеснять ту свободу, которая так идет к тебе: если она и не превосходит свободу римских женщин, как ты справедливо заметила, однако не забудь, что женщина незамужняя должна пользоваться ею с величайшей осмотрительностью. Продолжай окружать себя толпой людей веселых, блестящих, ученых даже, продолжай пленять, но подумай, что злым языкам ничего не стоит запятнать репутацию девушки. Возбуждая восторг, не давай пищи злословию и зависти, умоляю тебя!

– Что хочешь ты сказать, Арбак? – воскликнула Иона встревоженным, дрожащим голосом. – Я знаю, ты мой друг и желаешь соблюсти мою честь и счастье. Объяснись, что ты хотел сказать?

– Твой друг, да – и какой искренний друг! Могу я высказаться откровенно, не обидеть тебя?

– Умоляю тебя, выскажись!

– Этот молодой кутила, этот Главк... Как ты познакомилась с ним? Часто ли ты с ним виделась?

При этих словах Арбак устремил на Иону пристальный взгляд, как бы желая проникнуть ей в душу.

Отшатнувшись перед этим взглядом со странным испугом, которого она не могла объяснить себе, неаполитанка отвечала со смущением и нерешительностью.

– Его ввел ко мне в дом один соотечественник моего отца, а следовательно, и мой. Я знакома с Главком не более недели. Но к чему эти вопросы?

– Прости меня, – отвечал Арбак, – но я думал, что знаешь его дольше. Какой же он низкий клеветник!

– Что это значит? Какие выражения!

– Оставим это. Я не желаю возбуждать твоего негодования. Этот человек не заслуживает такой чести.

– Умоляю тебя, продолжай. Что мог сказать Главк, или, вернее, чем, ты предполагаешь, он оскорбил меня?

Подавляя в себе досаду, вызванную последней фразой Ионы, Арбак продолжал:

– Ты знаешь, каков его образ жизни, каковы его товарищи и его привычки: кутеж и кости – вот единственные его занятия! А среди порочного общества может ли он помышлять о добродетели?

– Ты говоришь загадками. Именем богов, заклинаю тебя, скажи мне сразу даже самое худшее.

– Так хорошо же, пусть будет по-твоему! Узнай, Иона, что не далее, как вчера, Главк открыто хвастался в общественных банях твоей любовью к нему. Он говорил, что он забавляется ею. Однако, надо отдать ему справедливость, он расхваливал твою красоту. Кто мог бы отрицать ее? Но он презрительно засмеялся, когда кто-то из друзей, Клавдий или Лепид, спросил, любит ли он тебя настолько, чтобы жениться, и скоро ли он украсит колонны своего дома гирляндами?

– Быть не может! Кто передал тебе такую низкую клевету?

– Неужели ты потребуешь, чтобы я рассказывал тебе про комментарии, с которыми дерзкие щеголи распространяли эту историю по всему городу? Знай, что я сам сначала не поверил ничему, и только потом, к великому огорчению, должен был, на основании слов свидетелей, убедиться в истине того, что передаю тебе.

Иона отшатнулась, и лицо ее стало блее колонны, к которой прислонилась ее голова.

– Признаюсь, меня рассердило, раздосадовало, что твое имя перелетает из уст в уста, как имя какой-нибудь танцовщицы. И вот сегодня я нарочно поспешил прийти и предостеречь тебя. Я встретился с Главком и потерял всякое самообладание. Я не мог скрыть своих чувств, я был даже невежлив в твоём присутствии. Можешь ты простить своего друга, Иона?

Иона подала ему руку, но не отвечала на слова.

– Перестань об этом думать, – сказал он, – но пусть этот случай послужит тебе предостережением, напоминанием, насколько ты должна быть осторожна. Это не может затронуть тебя, Иона, вряд ли такое легкомысленное существо заслуживает серьезного внимания твоего. Подобные вещи оскорбляют только в том случае, если исходят от любимого существа, но он далеко не такой человек, какого могла бы полюбить Иона с ее возвышенной душой!

Небезынтересно заметить, что в те отдаленные времена и при общественном строе, существенно отличающемся от нашего, те же самые вздорные причины расстраивали и прерывали «течение страсти» – та же изобретательная ревность, те же хитрые клеветы, те же лукавые сплетни, которых и теперь достаточно, чтобы порвать узы самой искренней любви и совершенно изменить ход событий, по-видимому самых благоприятных. Когда судно плывет по волнам, самая мелкая рыба, облепляя киль, может остановить его ход: так бывает и с величайшими страстями человеческими, и если мы хотим дать верное описание жизни, то нам необходимо, даже в периоды наиболее романтические, описывая идеальную старость, изобразить также весь этот пошлый, вздорный механизм, при помощи которого злоба неустанно орудует у наших очагов. В этих-то мелких интригах жизни заключается общая черта между нашим веком и давно минувшим прошлым.

С величайшей хитростью египтянин затронул слабую сторону характера Ионы. Он ловко направил отравленную стрелу против ее гордости. Он думал, что положил конец тому, что считал не более, как зарождающимся увлечением со стороны Ионы, судя по недавнему знакомству ее с Главком. Поспешив переменить разговор, он повел речь о брате Ионы. Но беседа не клеилась. Он скоро ушел, дав себе слово не слишком доверяться долгому отсутствию, а посещать девушку и следить за ней ежедневно.

Едва успела скрыться тень Арбака, как всякая женская гордость, всякое притворство, свойственное ее полу, мгновенно покинули ее жертву, и надменная Иона залилась горькими слезами.

VII. Веселая жизнь помпейского кутилы. – Копия с римских бань в миниатюре

Когда Главк расстался с Ионой, ему казалось, что у него выросли крылья. В этом свидании он в первый раз ясно убедился, что любовь его принимается благосклонно и что он может надеяться на взаимность. Эта надежда наполняла его восторгом, небо и земля казались ему слишком тесными, чтобы вместить его. Не сознавая того, что оставил за собой врага, и забыв не только об его инсинуациях, но и о самом его существовании, Главк прошел по веселым, оживленным улицам, беспечно напевая про себя ту нежную мелодию, которую слушала Иона с таким наслаждением. Он очутился на улице Фортуны, с ее приподнятым тротуаром, с раскрашенными снаружи домами, сквозь открытые двери которых виднелись яркие внутренние фрески. Оба конца улицы украшались триумфальными арками. Главк подошел к храму Фортуны. Выдающийся портик этого прекрасного капища (предполагают, что оно было построено одним из членов семейства Цицерона, может быть, даже самим оратором) придавал почтенную, величественную черту картине, которая иначе имела бы более блестящий, нежели величавый характер. Этот храм был одним из самых изящных образчиков римского зодчества. Он был возведен на довольно возвышенном подиуме, и между двумя лестницами, ведущими к площадке, стоял жертвенник богини. С этой площадки другая лестница вела к портику, со стройными колоннами, обвитыми фестоном из роскошных цветов. На обоих концах храма возвышались статуи работы греческих ваятелей, а неподалеку от храма была воздвигнута триумфальная арка с конной статуей Калигулы и бронзовыми колоннами по бокам. На площади перед храмом собралась оживленная толпа – одни сидели на скамьях и толковали о политике империи, другие – беседовали о предстоящем зрелище в амфитеатре. Группа юношей расхваливала новую красавицу. В другой говорили о достоинствах последней пьесы, третья группа, более пожилых людей разглагольствовала о выгодах торговли с Александрией. В ней было много купцов в восточных костюмах. Их широкие, своеобразные одежды, пестрые туфли, усыпанные камнями, их спокойные, важные манеры представляли резкий контраст с фигурами в туниках и оживленными жестами итальянцев. Уже тогда, как и теперь, этот живой, неутомимый народ имел особый язык знаков и жестов, язык чрезвычайно выразительный и оживленный: потомки их сохранили его до сих пор, и один ученый – Джорио – написал целое интересное исследование об этой иероглифической жестикуляции.

Пробравшись сквозь толпу, Главк очутился в группе веселых, беспутных друзей.

– А! – приветствовал его Саллюстий. – Сто лет тебя не видно!

– А как ты провел эти сто лет? Какие новые кушанья изобрел?

– Я занимался наукой, – отвечал Саллюстий, – делал опыты откармливания миног и, признаюсь, отчаялся довести их до того совершенства, какого достигли в этом искусстве наши предки римляне.

– Несчастный! Но почему же?

– А потому, – возразил Саллюстий со вздохом, – что теперь запрещено законом кормить их мясом рабов! Все же мне часто приходит охота отделаться от моего толстого буфетчика и потихоньку столкнуть его в бассейн. Он придал бы рыбам тонкий вкус! Но нынче рабы уже перестали быть рабами и не входят в интересы своих господ, иначе Давий сам погубил бы себя, чтобы доставить мне удовольствие!

– Ну, что нового из Рима? – томно спросил Лепид, подходя к группе.

– Император задал роскошный пир сенаторам, – отвечал Саллюстий.

– Добрый он государь, – заметил Лепид, – говорят, он никогда не отпустит человека, не исполнив его просьбы.

– Может быть, он позволил бы мне убить раба для моих миног! – с живостью воскликнул Саллюстий.

– Весьма вероятно, – сказал Главк, – потому что кто оказывает милость одному римлянину, тот всегда должен это сделать в ущерб другому. Будьте уверены, что каждая улыбка, вызванная Титом, стоила слез целой сотни людей.

– Да здравствует Тит! – крикнул Панса, слышавший имя императора, шествуя в толпе с покровительственным видом. – Он обещал моему брату квесторское место, потому что тот имел несчастье разориться...

– И теперь желает нажиться за счет народа, – добавил Главк.

– Именно так, – согласился Панса.

– Значит, и народ на что-нибудь да годится, – заметил Главк.

– Ну, конечно, – отвечал Панса. – Однако, пора мне пойти взглянуть на эрарий – он немного не в порядке.

И эдил суетливо убежал прочь, сопровождаемый целой вереницей клиентов, отличавшихся от прочей толпы своими тогами (тога, когда-то служившая отличительной принадлежностью свободного гражданина, теперь, наоборот, был признаком раболопной подчиненности патрону).

– Бедный Панса! – проговорил Лепид. – У него никогда нет времени на удовольствия. Благодарение небу, я не эдил!

– А, Главк, как поживаешь? Весело по обыкновению! – сказал Клавдий, подходя к группе приятелей.

– Уж не пришел ли ты приносить жертву Фортуне? – спросил Саллюстий.

– Я приношу ей жертвы каждый вечер, – возразил игрок.

– В этом я не сомневаюсь. Ни один человек не похитил столько жертв, как ты!

– Ого, какая язвительная речь! – смеясь воскликнул Главк.

– Ты вечно огрызаешься, как собака, Саллюстий! – сказал Клавдий с досадой.

– Тсс! – вмешался Главк и, подозвав цветочницу, взял у нее розу.

– Роза – символ молчания, – отвечал Саллюстий, – но я люблю видеть ее только за ужином. А кстати, Диомед дает большой пир на будущей неделе. Ты приглашен, Главк?

– Да, я получил приглашение сегодня утром.

– И я также, – сказал Саллюстий, вынимая из-за пояса квадратный кусочек папируса, – как видно, он приглашает нас часом раньше обыкновенного – верно, готовится что-то особенно роскошное⁸.

– О, да он ведь богат, как Крез, и меню его пира длиннее эпической поэмы.

– Пора нам в бани, – сказал Главк, – теперь там все в сборе. И Фульвий, которым вы так восхищаетесь, прочтет нам свою новую оду.

Молодые люди согласились с готовностью, и все направились к баням.

Хотя общественные термы и бани были учреждены скорее для бедных граждан, чем для богатых (у последних были собственные ванны дома), однако это было любимое место сборищ для толпы всех классов: туда стекались люди праздные, беспечные, чтобы вести беседу и коротать время. Бани в Помпее, конечно, отличались по плану и постройке от обширных и сложных римских терм. Действительно, в каждом городе империи замечались свои незначительные особенности в устройстве и архитектуре общественных бань. Это удивляет ученых – как будто мода и архитектура не могли быть прихотливыми раньше XIX столетия!

Наши молодые люди вошли через главный портик, обращенный на улицу Фортуны. У входа сидел сторож бань, с двумя ящиками: в один он опускал собираемые деньги, а из дру-

⁸ Римляне, как и мы, рассылали приглашительные карточки с обозначением часа пира, и чем роскошнее предполагалось празднество, тем ранее оно назначалось.

гого раздавал входные билеты. Вокруг стен портика стояли скамьи, и на них расположились люди различных классов общества, между тем как другие, следуя предписанию врачей, расхаживали быстрыми шагами взад и вперед под портиком, останавливаясь иногда перед множеством афиш о зрелищах, о продажах, играх, выставках, – все эти объявления были написаны на стенах. Главным предметом разговоров было предстоящее зрелище в амфитеатре. К каждому новому лицу приставали с вопросами – не нашлось ли, наконец, в Помпее какого-нибудь чудовищного преступника, какого-нибудь удачного случая убийства или святотатства, которое дало бы эдилам возможность бросить человека в пасть льву? Все прочие зрелища казались бледными и бесцветными сравнительно с возможностью такой счастливой оказии.

– Что касается меня, – сказал веселый, разбитной помпеец, оказавшийся ювелиром, – я полагаю, что если император так добр, как уверяют, то он мог бы прислать нам еврея.

– Почему бы не взять кого-нибудь из новой секты назареев, – вмешался один философ. – Я не жесток, но ведь безбожник, отрицающий самого Юпитера, не заслуживает жалости.

– Мне все равно, скольким богам человеку угодно поклоняться, – возразил ювелир, – но отвергать всех богов – это нечто чудовищное!

– Однако, – сказал Главк, – мне кажется, эти люди не вполне атеисты. Говорят, они верят в Бога и в иной мир...

– Ты ошибаешься, любезный Главк, – возразил философ. – Я говорил с ними, и они рассмеялись мне в лицо, когда я упомянул о Плутоне и аде.

– О, боги! – воскликнул ювелир в ужасе. – Неужели водятся такие презренные негодяи в Помпее?

– Насколько мне известно, их очень мало, и они собираются втайне, так что невозможно открыть, кто они такие.

Главк отошел, и какой-то скульптор, большой энтузиаст, проследил за ним восторженным взглядом.

– Ах, если б можно было его выпустить на арену, вот была бы прекрасная модель! Какое сложение! Какое лицо! Ему следовало бы быть гладиатором! Образец достойный нашего искусства! Отчего бы не отдать его льву?

В это время Фульвий, римский поэт, которого современники провозгласили бессмертным, но имя которого, если б не эта история, осталось бы неизвестным для нашего века, с живостью подошел к Главку:

– О, мой афинянин, о, мой Главк, ты пришел слушать мою оду! Какая честь для меня! Ведь у вас, греков, даже обыденная речь – сама поэзия! Как мне благодарить тебя! Это безделья, но, может быть, если я заслужу твое одобрение, мне удастся быть представленным Титу. О Главк! Поэт без покровителя все равно, что амфора без ярлыка. Вино в ней может быть превосходное, но никто его не расхваливает! А что сказал Пифагор? «Ладан – для богов, а похвала – для человека». Следовательно, патрон – это жрец поэта, он кадит ему ладаном и собирает вокруг него поклонников.

– Но вся Помпея – твой патрон, и каждый портик – жертвенник для прославления твоего имени.

– Да, пожалуй, бедные помпейцы очень любезны, они любят почитать достоинство. Но ведь они не более, как жители маленького городка – *Spero meliora*! Не войти ли нам?

– Разумеется. Мы теряем время, вместо того чтобы слушать твою поэму.

В эту минуту из бань в портик хлынуло человек двадцать посетителей, и вслед за тем раб, поставленный у дверей небольшого коридора, впустил в него поэта, Главка, Клавдия и целую толпу друзей поэта.

– Как все это жалко сравнительно с римскими термами! – проговорил Лепид с пренебрежением.

– Однако потолок расписан со вкусом, – возразил Главк, указывая на звезды, украшавшие потолок. Сегодня он был в таком настроении, что расположен был все находить прекрасным.

Лепид пожал плечами, но отвечать поленился. Они вошли в довольно просторную комнату, служившую аподитериумом (то есть местом, где купальщики приготавливались к роскошной ванне). Потолок со сводами подымался над карнизами, пестро расписанными яркой, аляповатой живописью. Самый потолок был разделен на белые квадраты с ярко-пунцовыми филенками. Гладкий, сияющий пол был устлан белой мозаикой, а по стенам стояли скамьи для отдыха изнеженных посетителей. В комнате не было многочисленных широких окон, какие приписывает Витрувий своему более роскошному фригидариуму.

Помпейцы, как и все южные итальянцы, любили прятаться от слишком ярких лучей своих знойных небес. По их понятиям роскошь и нега всегда соединялись с полумраком. Два стеклянных окна пропускали слабые, смягченные лучи солнца, а отделение, в котором помещалось одно из этих окон, украшалось большим барельефом, изображавшим гибель Титанов.

В этой зале Фульвий уселся с важностью, а слушатели, собравшиеся вокруг, просили его начать чтение. Но поэта и не надо было много упрашивать. Он вытащил из-за пазухи свиток пергамента, откашлялся, как бы приглашая к молчанию, а вместе с тем чтобы прочистить горло, и приступил к чтению пресловутой оды, от которой, к великому сожалению автора этой истории, не сохранилось ни единого стиха.

Судя по аплодисментам, ода, без сомнения, была достойна славы своего автора, и один только Главк из всех слушателей не признал, что она превосходит оды Горация.

Когда окончилось чтение, те, которые брали только холодную ванну, начали раздеваться. Они повесили свои одежды на крючки, вбитые в стену, и, получив из рук рабов – своих собственных или прислуживающих в термах, другую, широкую одежду, проходили в изящное, круглое здание, сохранившееся и поныне как бы для того, чтобы пристыдить неопрятное потомство помпеян.

Другие купальщики, наиболее изнеженные, уходили в тепидариум, залу, нагретую до приятной теплоты, частью при помощи переносного очага, а, главное, благодаря подогреваемому снизу полу, под которым находились теплопроводные трубы.

Здесь купальщики, сняв с себя одежды, некоторое время наслаждались искусственной теплотой воздуха, полного неги. Эта комната, как и подобало ее важному значению в процедуре омовений, была отделана богаче и тщательнее прочих: сводчатый потолок был украшен роскошной резьбой и живописью. Окна с матовыми стеклами, помещавшиеся вверх, пропускали лишь тусклые, смягченные лучи света. Под массивными карнизами красовались барельефы. Стены сияли яркой пунцовой краской, а пол был выложен искусной белой мозаикой. Здесь обычные посетители, совершавшие омовение раз по семи в день, оставались в состоянии томного, молчаливого изнеможения, до или, большей частью, после ванны. Многие из этих жертв страстной заботы о здоровье устремляли львиные взоры на входящих и только кивали друзьям, боясь утомить себя разговорами.

Из этой комнаты общество опять разделялось, смотря по прихоти и вкусу каждого: некоторые шли в судаториум, – вроде наших паровых бань, а оттуда в горячие ванны. Другие же, более привычные к моциону и не желая подвергаться утомлению, шли прямо в калидариум, или водяные ванны.

Чтобы дополнить этот очерк и дать читателю надлежащее понятие об этом главном наслаждении древних, проследим за Лепидом, аккуратно проделывавшим всю процедуру, кроме холодной ванны, недавно вышедшей из моды. Постепенно нагретый в тепидариуме, помпейский щеголь переходил в судаториум. Пусть сам читатель представит себе последовательную процедуру паровой ванны, напитанной острыми ароматами. После этой операции купальщика подхватывали рабы, всегда дожидавшиеся его в банях, и снимали с его тела капли испарины небольшой лопаточкой. Кстати сказать, один современный путешественник серьезно уверял,

что этот инструмент предназначен для соскабливания грязи, тогда как грязи ни в каком случае не могло оказаться на выхоленной, гладкой коже постоянного купальщика. Оттуда, немного охладившись, Лепид перешел в водяную ванну, опять-таки щедро уснащенную благоуханиями. Затем, когда он вышел в противоположные двери, освежающий дождь облил его с ног до головы. Закутавшись в легкую одежду, он вернулся в тепидариум, где застал Главка, который не входил в судаториум. Здесь-то и началось главное наслаждение и роскошь бань. Рабы приносили сосуды – золотые, алебастровые или хрустальные, осыпанные драгоценными камнями, и умащали купальщиков дорогими благовониями из всех стран света. Одни названия этих духов, употребляемых богатыми людьми, наполнили бы целые страницы: между прочими назовем *Amaracinum*, *Megaliu*m, *Nardum* – *omne quod exit in um*. В это время тихая музыка раздавалась из соседней комнаты, и те, которые пользовались банями умеренно, освеженные и подкрепленные этой приятной процедурой, беседовали между собой с живостью и увлечением, как будто помолодели.

– Да будет благословен тот, кто выдумал бани! – сказал Главк, развалившись на одном из бронзовых лож, покрытых мягкими подушками (до сих пор можно видеть такие лежа в этом самом тепидариуме). – Кто бы ни был он, Геркулес или Бахус, – он заслуживает быть причисленным к сонму богов.

– Скажи мне, – проговорил один толстяк, сопя и вздыхая, в то время как подвергался операции растирания, – скажи мне, о, Главк (проклятый раб, тише! ты меня царапаешь!), скажи мне, действительно ли так великолепны римские бани?

Главк обернулся и узнал Диомеда – впрочем, не без труда – до того красны и воспалены были щеки достойного гражданина после судаториума и растирания.

– Я полагаю, они должны быть гораздо роскошнее этих. А?

Главк отвечал, едва удерживаясь от улыбки:

– Вообрази себе, что вся Помпея превращена в бани – и тогда ты получишь понятие о размерах римских бань. Но это только о размерах... Представь себе, кроме того, все развлечения умственные и телесные, перечисли все гимнастические игры, изобретенные нашими отцами, все сочинения, написанные в Греции и Италии, представь себе помещения для всех этих игр, прибавь к этому бани громадных размеров и самого сложного устройства, при всем том сады, театры, портики, школы – словом, представь себе город богов, состоящий только из дворцов и общественных зданий, – и тебе удастся составить себе слабое понятие о великолепии грандиозных римских бань.

– Клянусь Геркулесом! – воскликнул Диомед, вытаращив глаза. – Да так, пожалуй, можно всю жизнь употребить на купание.

– В Риме это часто так и бывает, – отвечал Главк серьезно. – Многие постоянно живут в банях. Они приходят, как только отпираются двери, и остаются до тех пор, пока их не запрут. Эти люди как будто игнорируют все остальное в Риме и презирают всякое иное существование.

– Клянусь Поллуксом! Ты поражаешь меня!

– Даже те, которые берут ванны только три раза в день, умудряются посвящать всю свою жизнь этому занятию. Сперва делают моцион в портик или в зал игр, приготовляясь к первой ванне, а после нее идут в театр освежиться. Затем они обедают в саду, думая о второй ванне. Тем временем как готовят ванну, у них совершается пищеварение. После второго купания они отправляются в перистиль слушать стихи какого-нибудь нового поэта или в библиотеку подремать над каким-нибудь старым автором. Тут наступает час ужина, который также считается как бы частью ванны, и, наконец, они купаются в третий раз, и в это время беседуют с друзьями, считая бани самым удобным местом для такой беседы.

– Клянусь Геркулесом! Да и у нас в Помпее найдутся подражатели этому.

– Да, но в оправдание этого у них нет тех же условий. Изнеженные римляне счастливы в своих банях. Они видят вокруг себя одну роскошь и великолепие. Они никогда не посещают

грязных кварталов города. Они не знают, что такое бедность. Вся природа им улыбается, и единственную превратность они испытывают лишь под конец, когда им приходится купаться в водах Стикса. Поверь мне, вот истинные философы.

Пока Главк говорил, Лепид, полувзакрыв глаза и чуть дыша, подвергался всем положенным мистическим операциям. Ни за что он не позволил бы своим рабам пропустить хоть малейшую из них. После благовонных мазей, они осыпали его с ног до головы душистой пудрой, чтобы предохранить от жара. Затем, когда пудру сняли гладким куском пемзы, он облекся не в ту одежду, которую только что снял, а в другую, более парадную – «синтезис», надеваемую римлянами в знак уважения к предстоящей церемонии ужина, который, впрочем, приличнее было бы назвать обедом, так как он происходил в три часа пополудни, согласно нашему разделению времени. Когда кончилось одевание, он наконец открыл глаза и подал признаки возвращающейся жизни. В то же время и Саллюстий протяжным позевыванием обнаружил свое существование.

– Пора ужинать, – сказал эпикуреец, – Главк и Лепид, пойдемте со мной.

– Не забудьте, что вы все трое приглашены ко мне на будущей неделе, – крикнул им Диомед, гордившийся своим знакомством с такими модными щеголями.

– Помним! Помним! – отвечал Саллюстий. – Ведь память, Диомед, несомненно, сидит в желудке!

Покончив на этот день с церемониями помпейских бань, наши щеголи вышли сперва в прохладную залу, а затем и на улицу.

VIII. Арбак плутует в игре и выигрывает партию

Вечерний сумрак спускался над шумным городом, когда Апекидес направлялся к дому египтянина. Избегая более освещенных и людных улиц, он шел с опущенной на грудь головой и сложив руки под складками просторной одежды. Его строгое лицо и изможденная фигура представляли поразительный контраст с беспечным, оживленным видом прохожих, попадавших ему на пути.

Но вот какой-то человек, более степенного, положительного вида, два раза прошедший мимо, бросая на него любопытные, неуверенные взгляды, наконец дотронулся до его плеча.

– Апекидес, – проговорил он, быстро осенив себя знаменем креста.

– Что тебе нужно, назареянин? – отозвался Апекидес, и его бледное лицо еще более побледнело.

– Я не хочу прерывать твоих размышлений, – молвил незнакомец, – но в последний раз, как мы виделись, ты, кажется, принял меня ласковее.

– Я и теперь рад видеть тебя, Олинтий, но ты видишь, я печален, утомлен сегодня и не в состоянии разговаривать с тобой о предметах, тебе близких.

– Какое малодушие! – сказал Олинтий с горечью. – Ты печален и измучен, а между тем отворачиваешься от источника, освежающего и исцеляющего.

– О земля! – вскричал юный жрец, страстно ударяя себя в грудь. – Когда же, наконец, увидят очи мои истинный Олимп, населенный истинными богами? Должен ли я верить вместе с этим человеком, что боги, которым столько веков поклонялись наши отцы, не существуют вовсе? Неужели следует свергнуть, как нечто святотатственное и нечестивое, самые алтари, почитаемые мною священными? Или же следует разделять верования Арбака?..

Он замолк и удалился скорыми шагами с нетерпением человека, желающего убежать от самого себя. Но назареянин был одним из тех сильных, стойких, восторженных людей, через которых Бог во все времена совершал перевороты на земле, в особенности в деле восстановления и преобразования религии, – такие люди как будто нарочно созданы, чтобы убеждать, потому что сами способны все вынести. Людей такого закала ничто не может обескуражить или смутить. Воодушевленные горячей верой, они воодушевляют других. Сперва рассудок воспламеняет в них страсть, и страсть есть орудие, к которому они прибегают. Они силой проникают в сердца людей, хотя, по-видимому, обращаются только к их рассудку. Нет ничего столь заразного, как энтузиазм: это живая аллегория сказки Орфея – энтузиазм ворочает камнями, чарует зверей. Энтузиазм есть гений искренности, и без него истина не может одержать побед.

Олинтий не допустил Апекидеса ускользнуть от него. Догнав его, он заговорил:

– Не мудрено, Апекидес, что я волную тебя, смущаю твой дух, что погружаешься в сомнения, что твоя мысль блуждает в океане неопределенных, смутных мечтаний... Не удивляюсь этому, но послушай меня терпеливо. Бодрствуй и молись, – тьма рассеется, буря утихнет, и сам Бог, подобно тому как Он однажды шествовал по озеру Галилейскому, – придет к тебе по утихнувшим волнам души твоей. Наша вера ревнива в своих требованиях, но зато как щедра она в своих даяниях! Она волнует тебя, зато дарует тебе бессмертие!

– Подобные обещания, – возразил Апекидес мрачно, – не более, как плутни, которыми всегда дурачат людей. О, как великолепны были обещания, завлекшие меня в храм Исиды!

– Но спроси свой разум, – продолжал назареянин, – может ли быть свята религия, оскорбляющая нравственностью? Вам велят поклоняться богам. Но что такое эти боги, даже судя по вашим понятиям? Каковы их поступки, их атрибуты? Разве вам не представляют их самыми черными преступниками, а между тем требуют, чтобы вы служили им, как величайшим святыням? Сам Юпитер – отцеубийца и прелюбодей. А кто такие второстепенные боги, как не подражатели его порокам? Вам запрещают убивать, а вы поклоняетесь убийцам. Вам запре-

щают прелюбодеяние, а вы молитесь прелюбодею! О, это насмешка над самыми священными чувствами человеческой природы, – над верой! Теперь обрати взоры на Бога, единого, истинного Бога, к алтарю которого я хочу привести тебя. Если Он покажется тебе слишком высоким, слишком недостижимым, согласно человеческим понятиям о сношениях между Создателем и созданием, созерцай Его в Сыне, принявшем нашу смертную плоть. Человечество Сына Божия проявилось не в пороках, свойственных нашей природе, как у ваших сказочных богов, а в добродетельной жизни. В нем соединялась самая строгая нравственность с нежнейшими чувствами. Если б даже Он был простым смертным, Он заслужил бы стать Богом. Вы почитаете Сократа – у него своя секта, свои последователи, свои школы. Но что значат сомнительные добродетели афинянина сравнительно с лучезарной, неоспоримой, непрестанной святостью Христа? Я говорю тебе только о Его человеческом характере. Он олицетворял Собою образ для грядущих веков, тот идеал добродетели, который Платон жаждал видеть во плоти. Вот истинная жертва, принесенная им ради человечества, но сияние, окружавшее Его смерть на кресте, не только озарило землю, но и отверзло нам небеса! Ты тронут, ты взволнован. Сам Бог направляет сердце твое. Дух Его снизошел на тебя. Полно, не противься святому наитию: пойдем со мной не колеблясь. Некоторые из нас собрались ныне для толкования слова Божия. Дай мне руководить тобой. Ты печален, измучен. Внимай же слову Божию: «Придите ко мне все страждущие, обремененные, и Я успокою вас!».

– Не сейчас, – сказал Апекидес, – в другой раз.

– Сейчас, именно сейчас! – воскликнул Олинтий с жаром, схватив его за руку.

Но Апекидес, еще не приготовленный к отречению от той веры, от той жизни, ради которой он так многим пожертвовал, и все еще находясь под влиянием обещаний египтянина, вырвался из рук Олинтия, и, чувствуя, что нужно сделать усилие, чтобы побороть нерешительность, прокрадываясь в его пылкую, лихорадочную душу, благодаря красноречию христианина, он поспешно подобрал свою одежду и бежал с такой быстротой, что догнать его было бы трудно.

Измученный, запыхавшийся, он достиг наконец отдаленной, безлюдной части города и очутился перед уединенным домом египтянина. Он остановился перевести дух. В эту минуту выплыла луна из-за серебристого облака и ярко озарила стены таинственного жилища.

Поблизости не виднелось никакого другого жилья: перед зданием расстился густой, темный виноградник, а позади высились сплошные деревья, как бы заснувшие под меланхолическим светом луны. Вдали тянулась туманная линия далеких гор, и между ними торчала спокойная вершина Везувия, тогда еще не столь высокая, какой она представляется теперь глазам путешественников.

Апекидес прошел под сводом густого виноградника и очутился перед широким, просторным портиком. По обе стороны лестницы покоились изображения египетских сфинксов, и лунный свет придавал еще более торжественное спокойствие этим широким, гармоническим, бесстрастным чертам, в которых скульпторы умели соединять красоту с величием, внушающим благоговение. Выше, по бокам ступеней, чернела темная, тяжелая зелень алоэ, а восточная пальма бросала длинную, неподвижную тень на мраморные ступени.

В тишине, царствовавшей вокруг, и в причудливых фигурах изваянных сфинксов было что-то таинственное и страшное. Кровь молодого жреца застыла от ужаса. Ему хотелось, чтобы хоть эхо его шагов по лестнице нарушило жуткое безмолвие.

Он постучал в дверь, над которой виднелась какая-то надпись, сделанная незнакомыми ему письменами. Дверь бесшумно отворилась, и высокий раб-эфиоп, без всяких расспросов и приветствий, пригласил его следовать за ним.

Широкие сени освещались высокими бронзовыми канделябрами искусной работы. По стенам были вырезаны крупные иероглифы темных, мрачных цветов, представлявших странный контраст с яркими красками и грациозными фигурами, которыми жители Италии укра-

шали свои жилища. В конце сеней вышел ему навстречу раб с лицом если не африканского уроженца, то во всяком случае несколько смуглее обычного цвета южных жителей.

– Я хочу видеть Арбака, – сказал жрец, и его голос дрожал, заметно даже для его собственных ушей.

Раб молча наклонил голову и повел его во флигель, в сторону от сеней, затем по узкой лестнице. Пройдя несколько комнат, где главным украшением, привлекавшим внимание жреца, была опять-таки суровая, задумчивая красота сфинксов, Апекидес очутился в полусвещенном покое, где находился египтянин.

Арбак сидел перед небольшим столом, заваленным развернутыми свитками папируса, покрытыми такими же письменами, как и надпись над дверями дома. На некотором расстоянии стоял маленький треножник, из которого медленно подымался дым ладана. Возле помещался большой глобус с небесными знаками, а на другом столе лежали какие-то инструменты причудливой, странной формы, незнакомые Апекидесу. Дальний конец комнаты был скрыт занавесью, а в продолговатое окно на кровле лились лучи месяца, смешиваясь с печальным светом единственной лампы, горевшей в комнате.

– Садись, Апекидес, – сказал египтянин не вставая.

Молодой человек повиновался.

– Ты спрашиваешь меня, – молвил Арбак после непродолжительного молчания, как бы очнувшись от глубокой задумчивости – ты спрашиваешь меня о величайших тайнах, какие только способен воспринять человек. Ты желаешь, чтобы я решил для тебя загадку жизни. Как дети в потемках, мы блуждаем в неведении, брошенные лишь на короткое время в эту тусклую, скоропроходящую жизнь. Мы сами себе создаем призраки во мраке. Наша мысль то обращается внутрь нас самих, наполняя нас ужасом, то необузданно кидается в беспросветный мрак, стараясь угадать, что там скрывается. Мы протягиваем туда-сюда беспомощные руки, иначе мы, словно слепые, наткнулись бы на какую-нибудь скрытую опасность. Не ведая границ наших владений, мы то чувствуем, что они душат нас, то нам кажется, что они простираются в бесконечную даль. При таком состоянии вся мудрость естественно должна заключаться в решении двух вопросов: «чему верить?» и «что отвергать?». И ты хочешь, чтобы я решил эти вопросы?

Апекидес утвердительно кивнул головой.

– Человеку нужна вера, – продолжал египтянин с оттенком грусти. – Он должен к чему-нибудь привязаться своими надеждами. Такова наша натура: когда человек видит с ужасом и изумлением, что все, на что он возлагает свои упования, уплывает от него, он носится по мрачному, безбрежному морю сомнений, он взывает о помощи, просит, чтобы ему бросили спасательную доску, за которую он мог бы ухватиться, чтобы ему указали берег, хотя бы туманный и далекий, куда он мог бы пристать. Ну, так слушай же. Ты не забыл нашего сегодняшнего разговора?

– Мог ли я забыть?!

– Я признался тебе, что божества, перед которыми вы сооружаете жертвенники, не более как вымыслы. Я открыл тебе, что наши обряды и церемонии – сущая комедия, имеющая целью морочить и обманывать людское стадо ради его же блага. Я объяснил тебе, что благодаря этим обманам возникли общественные порядки, гармония мира, власть мудрых – и этой властью они заставляют толпу повиноваться. Итак, будем продолжать этот благотворный обман, – если человеку нужны какие-нибудь верования, то почему не сохранить ему той веры, которая дорога ему по воспоминаниям об их отцах, ту, которая освящается и укрепляется обычаем. Отыскивая более утонченную веру для нас самих, чьи чувства слишком возвышенны для грубых верований, оставим другим на поддержку крохи, падающие с нашего стола. Это и мудро, и милосердно...

– Продолжай.

– Итак, – продолжал египтянин, – оставив старые грани неприкосновенными для других, мы опоясываем свои чресла и отправляемся на поиски новых областей веры. Изгони сразу из твоих помыслов, из твоей памяти все, чему ты верил до сих пор. Представь себе, что твой ум – чистый, неисписанный свиток, впервые способный воспринимать впечатления. Оглянись на мир, наблюдай его устройство, его порядок и гармонию. Кто-нибудь да создал его – создание говорит о Создателе. С этой уверенностью мы впервые вступаем на твердую почву. Но кто этот Создатель? Бог! – восклицаешь ты. Постой – не надо неясных, сбивчивых наименований! О Том, Кто сотворил мир, мы не знаем, мы ничего не можем знать, кроме Его атрибутов – могущества и неизменного порядка, – строгого, всеподавляющего, неослабного порядка, который не принимает в расчет личностей и единичных случаев, порядка, который идет своей дорогой – сокрушает, сжигает, не обращая внимания на сердца, оторвавшиеся от общей массы и раздавленные под его беспощадными колесами. Смесь зла с добром, существование преступления и страдания во все времена смущали мудрецов. Создав себе бога, они предполагали его милосердным. Откуда же происходит зло? Как мог он допустить его, дать ему укорениться? В виде объяснения, персы создали себе другой дух, по природе своей злобный, и предположили, что происходит постоянная война между ним и духом Добра. Подобного же демона египтяне олицетворяют в своем мрачном, грозном Тифоне. Страшная ошибка, еще более сбивающая нас с толку! Безумие, порожденное пустой иллюзией, облекающей эту неведомую силу в осязательную, телесную, человеческую оболочку, и приписывающей Невидимому атрибуты и свойства Видимого. Нет, этой силе надо дать другое название, не отвечающее нашим сбивчивым понятиям, – и тайна разъяснится. Назовем ее роком. Рок, говорят греки, управляет богами. Тогда к чему же боги? Их посредничество становится ненужным, упраздните их совсем. Судьба управляет всем, что мы видим. Сила, порядок – вот ее главные атрибуты. Хочешь знать ее более? Напрасно, ты ничего не узнаешь, будет ли она вечна, готовит ли она нам, своим созданиям, новую жизнь после той тьмы, что зовется смертью, – мы ничего об этом не ведаем. Теперь оставим эту древнюю, невидимую, неосязаемую силу и обратимся к той, которая, на наш взгляд, является великой исполнительницей ее функций. Эту силу мы можем ближе исследовать, от нее мы можем больше узнать, она для нас очевидна, и имя ей – Природа. Мудрецы впали в ошибку, направив свои исследования на атрибуты Судьбы, в которой все непроницаемо и темно. Если бы они ограничили свои изыскания Природой, сколько знаний было бы уже приобретено! В этой области терпение, изучение никогда не пропадают даром. Мы видим то, что исследуем. Наш ум подымается по осязательной лестнице причин и следствий. Природа есть великий деятель внешнего мира, а Рок налагает на нее законы, согласно коим она действует и сообщает нам способности для наблюдения. Эти способности суть любознательность и память, совокупность их составляет разум, а усовершенствование их дает мудрость. Итак, благодаря этим способностям, я изучаю неистощимую Природу. Изучаю землю, воздух, океан, небеса. Я убеждаюсь, что между ними существует среда, где все живет и чувствует, – по звездам мы научились измерять пределы земли и делить время. Их бледный свет освещает нам бездны прошлого. Их таинственная наука учит нас проникать в судьбы будущего. Итак, хотя мы и не ведаем, что такое Рок, мы познаем, по крайней мере, его веления. А теперь какую мораль можно извлечь из этой религии? – так как это религия. Я верую в два божества: Природу и Рок. Последнему я поклоняюсь из уважения, первой – в силу того, что я изучил ее. Какова нравственность, проповедуемая моей религией? Вот она: все повинуетя лишь общим законам. Солнце светит на радость большинству, но оно может принести горе кому-нибудь. Ночь навевает сон на большинство, но она покровительствует убийству, точно так же, как и отдыху. Леса украшают землю, но они скрывают в себе змею и льва. Океан носит тысячи судов и поглощает одно из них. Таким образом, Природа действует на общее благо, а не для личностей, а Рок подгоняет ее грозное шествие. Таково нравственное начало этих могучих двигателей мира, – таково же и мое, так как я их создание. Я хотел бы, чтобы жрец сохранил свою способность

лукавить, так как этот обман полезен для толпы. Я посвятил бы человека в искусства, которые я открыл, в науки, которые я усовершенствовал. Я распространил бы знание и цивилизацию: в этом я оказываю услугу массе, выполняю общий закон, следуя великому нравственному принципу, проповедуемому Природой. Но лично для себя я требую исключения, требую его для мудрецов: убежденный, что мои личные поступки ничего не значат на весах добра и зла. Убежденный, что мои познания могут доставить больше блага массе, нежели могли бы причинить вреда немногим (так как мои знания могут распространиться в далекие области и принести пользу народам, еще не родившимся на свет), я даю миру мудрость, а для себя требую свободы. Я просвещаю жизнь других и наслаждаюсь своей собственной жизнью. Да, знание вечно, но жизнь наша коротка, надо ею пользоваться. Отдай свою молодость – удовольствиям, свои чувства – наслаждению. Скоро настанет час, когда кубок разобьется и гирлянды поблекнут. Наслаждайся, пока можешь! Будь по-прежнему, о Апекидес, моим учеником, моим последователем! Я посвящу тебя в механизм природы, в ее глубочайшие, сокровенные тайны, я познаю тебя с наукой, которую глупцы называют магией, научу тебя великим тайнам звезд. Таким путем ты исполнишь свой долг относительно массы и будешь просвещать народ. Но я открою тебе также восторги, о каких обыкновенный смертный и не мечтает. Дни ты будешь отдавать людям, а дивные ночи будешь посвящать личным наслаждениям.

Египтянин замолк, в эту минуту со всех сторон – сверху, снизу – раздалась упоительная музыка, волны звуков ласкали чувства, возбуждая нервы, наполняя душу блаженством. Казалось, это были мелодии невидимых духов, подобные тем, что слышали пастухи золотого века в долинах Вессалии и полуденных рощах Пафоса. Апекидес хотел было отвечать на софистические рассуждения египтянина, но слова замерли на его дрожащих губах. Он чувствовал, что будет святотатством нарушить эту дивную мелодию. Впечатлительность его чувствительной натуры, чисто греческая мягкость и пылкость души были захвачены и поражены врасплох. Он сел и стал прислушиваться, полураскрыв губы и напрягая слух, между тем как хор голосов, нежных и сладостных, исполнял гимн Эроту.

Когда звуки замерли, египтянин схватил за руку взволнованного, опьяненного Апекидеса и почти насильно увлек его в дальний конец залы. В эту минуту за занавесом сверкнули как бы тысячи звезд. Сам занавес, до сих пор темный, вдруг осветился огнями, скрывавшимися позади, и принял нежнейший оттенок небесной лазури.

Он изображал небо, такое небо, какое сияет в июньскую ночь над Кастальским источником. Там и сям были написаны розоватые облачка, из-за которых мелькали лица дивной красоты, тела, достойные мечты Фидия и Апеллеса. Звезды, устилавшие прозрачную лазурь, быстро двигались, ярко сияя, между тем как музыка, перейдя в более живой, веселый темп, как бы аккомпанировала ликующей гармонии сфер.

– О! Какое это чудо, Арбак! – воскликнул Апекидес дрожащим голосом. – Отвергнув богов, неужели ты откроешь мне...

– Их наслаждения! – прервал его Арбак тоном, столь непохожим на его обычный холодный, спокойный голос, что молодой жрец вздрогнул. Ему показалось, что сам египтянин преобразился. В ту минуту, как они приблизились к заветному занавесу, из-за него полилась громкая, дикая, ликующая мелодия. При этих звуках занавес разорвался надвое, исчез, как бы растаял в воздухе, и ослепленным взорам молодого жреца представилась такая картина, какая не снилась и сибариту. Перед ними открылась обширная банкетная зала, сиявшая бесчисленными огнями. Теплый воздух был пропитан ароматами ладана, жасмина, фиалки, мирры. Все благоухания цветов и дорогих благовоний слились в несказанный сладостный аромат, подобный амброзии. С изящных, стройных колонн, подпиравших легкую кровлю, свешивались белые драпировки, усеянные золотыми звездами. По обоим концам зала били вверх струи фонтанов, сверкавших при розоватом свете, как бесчисленные алмазы. Когда жрец и египтянин вошли в зал, из середины с пола немедленно поднялся, при звуках невидимой музыки,

стол, уставленный самыми изысканными блюдами и вазами, изделиями исчезнувшей миррской фабрики⁹, самых ярких красок и прозрачайшего материала, наполненными редкими, экзотическими растениями Востока. Ложа вокруг стола были покрыты тканями цвета лазури, затканными золотом.

Из невидимых трубочек в сводчатом потолке сыпались брызги душистой воды, приятно освежая воздух и споря с лампами, как будто духи воды и огня состязались между собой – которая из стихий распространит более приятное благоухание. И вот из-за белоснежных драпировок показались красавицы, подобные тем, каких созерцал Адонис, покоясь в объятиях Венеры. Одни несли гирлянды, другие лиры. Они окружили юношу и повели его к столу. Они опутали его гирляндами, как розовыми цепями. Душа его отрешилась от земли и земных помыслов. Он вообразил, что это сон, и затаил дыхание, боясь проснуться слишком скоро. Чувственность, которой он никогда еще не отдавался, пробудилась в нем. Пульс его ускоренно забился, в глазах помутилось. И в то время, как он был погружен в восторг и немое изумление, снова раздалась волшебная музыка, на этот раз в веселом, вакхическом темпе. Это была анакреонтическая песнь.

Когда пение замолкло, группа из трех дев, переплетенных гирляндой цветов и красотой своей способных пристыдить граций, которым они подражали, стали приближаться к нему плавными движениями ионийской ласки, подобные Нереидам, озаренным лунным светом на желтых песках Эгейского берега, или тем девам, которых Цитерия обучала пляске к свадьбе своего сына с Психеей.

Приблизившись, они увенчали его чело гирляндой цветов. Одна из них, младшая, опустившись перед ним на колено, подала ему кубок, в котором сверкало и пенилось лесбосское вино. Юноша не сопротивлялся более, он схватил опьяняющий кубок, кровь закипела в его жилах. Он припал головой к груди нимфы, сидевшей возле него, и, обратив помутившийся взор на Арбака, о котором в первую минуту забыл в вихре удовольствия, он увидел его сидящим под балдахином, на другом конце стола, улыбкой поощряя юношу. Апекидес заметил, что он уже не таков, каким он видел его до сих пор, в темных, траурных одеждах, с суровым, торжественным выражением лица: теперь его величавая фигура была облечена в ослепительную белую одежду, сверкавшую золотом и драгоценными камнями. Белые розы, перемешанные с изумрудами и яхонтами, образуя род тиары, увенчивали его кудри, черные, как вороново крыло. Казалось, он, как Улисс, приобрел вторую молодость: черты его утратили свою задумчивость и сияли красотой. Среди окружающих его прелестей он царил во всем блеске и благоволении олимпийского бога.

– Пей, веселись, наслаждайся, ученик мой! – сказал он. – Не стыдись своей молодости и страстности. Каков ты есть в настоящую минуту – говорит тебе жар твоей крови. А каким ты будешь – скажет тебе вот это: смотри!

С этими словами он указал рукой на нишу, и Апекидес, повернувшись в ту сторону, увидел на пьедестале, между статуями Бахуса и Идалии, скелет.

– Не пугайся, – продолжал египтянин, – этот дружелюбный гость напоминает нам лишь о краткости нашей жизни. Из его обнаженных челюстей я слышу голос, повелевающий нам наслаждаться!

Пока он говорил, группа нимф окружила скелет, они сложили венки на его пьедестал и, наполнив кубки искристым вином, совершили возлияние на этот старинный жертвенник. В это время другая группа пела вакхический гимн, посвященный смерти.

⁹ По всей вероятности, это был китайский фарфор, – хотя вопрос этот спорный.

Часть вторая

І. Подозрительный притон в Помпее и борцы классической арены

Перенесемся теперь в ту часть Помпеи, где живут не богачи и прожигатели жизни, а их клеветы и жертвы, в логовище гладиаторов и бойцов, преступников и бедняков, бродяг и развратников, – словом, в трущобы древнего города.

То была просторная комната, выходившая прямо на узкий многолюдный переулок. На пороге собралась кучка людей. По их железным мускулам, коротким геркулесовским шеям, по наглым, беспечным лицам сразу можно угадать в них борцов арены. На полках, снаружи лавки, стояли рядами кувшины с вином и элем, а над ними, направо, красовалось на стене грубо намалеванное изображение пирующих гладиаторов – видно, уже и в древности существовал почтенный обычай вывесок! Внутри комнаты было расставлено несколько отдельных столиков, как и в современных кофейнях, а за ними сидело несколько групп, – одни пили, другие играли в кости, или в еще более замысловатую игру, называемую «duodecim scripta». Иные ученые ошибочно принимали ее за шахматы, в сущности же это была игра, напоминающая триктрак, в которую обыкновенно играли костями.

Пора была ранняя, задолго до полудня, и самая несвоевременность таких занятий лучше всего характеризовала обычную лень и праздность этих трактирных бездельников. Несмотря, однако, на характер дома и его посетителей, в нем не замечалось того убожества и отвратительной нечистоплотности, какой отличаются подобные притоны в современном городе. Веселый нрав помпейцев, вообще всегда старавшихся, по крайней мере, удовлетворять своим внешним чувствам, сказывался в ярких красках, которыми расписаны были стены, в фантастической, не лишенной изящества форме ламп, кубков и самой простой домашней утвари.

– Клянусь Поллуксом! – воскликнул один из гладиаторов, прислонившийся к косяку двери. – Вино, которое ты нам продаешь, старый Силен, способно разжигать лучшую кровь в наших жилах!

С этими словами он хлопнул по спине толстяка соседа.

Человек, с которым так бесцеремонно обращались и в котором, по засученным рукавам, белому переднику, связке ключей и салфетке, заткнутой за пояс, тотчас можно было узнать хозяина таверны, был уже в летах. Он до сих пор сохранил крепкое, атлетическое сложение и смело мог бы выдержать сравнение с окружавшими мускулистыми фигурами, но у него мускулы превратились в жир, щеки оплыли и раздулись, а объемистый, обвислый живот как-то скрадывал широкую, могучую грудь.

– Без грубых шуток со мною, – глухо прорычал атлет-трактирщик, как оскорбленный тигр, – вино мое достаточно хорошо для падали, которая будет скоро валяться в пыли сполариума¹⁰.

– Чего ты каркаешь, старая ворона! – отвечал гладиатор, презрительно усмехнувшись. – Погоди еще, доживешь до того, что повесишься с досады, когда я выиграю пальмовый венок. А как только я получу кошелек в амфитеатре, что, конечно, случится непременно, я сейчас же дам клятву Геркулесу – навсегда распрощаться с тобой и твоим поганым пойлом.

¹⁰ Место, куда тащили с арены убитых или смертельно раненных гладиаторов.

– Послушайте-ка, что говорит этот шут! – воскликнул трактирщик. – Эй, Спор, Нигер, Тетред, он уверяет, будто отобьет у вас кошелек. Каков! Клянусь богами, каждого из ваших мускулов достаточно, чтобы придушить его целиком, или я ничего не смыслю в арене!

– А! – вскочил гладиатор, вспыхнув от ярости. – Наша ланиста может рассказать кое-что другое!

– Что может она сказать против меня, хвастливый Лидон? – проговорил Тетред, нахмурив брови.

– Или против меня, победившего в пятнадцати боях? – спросил великан Нигер, подступая к гладиатору

– Или против меня, – проворчал Спор со сверкающими глазами.

– Потише! – сказал Лидон, скрестив руки и оглядев своих соперников с вызывающим видом. – Скоро настанет час испытания, а до тех пор поберегите свою храбрость.

– И в самом деле! – вмешался хозяин сердито. – И если я пальцем шевельну, чтобы спасти тебя, пусть парки перережут нить моих дней!

– Ты хочешь сказать – веревку, а не нить, – заметил Лидон насмешливо, – вот тебе сестерций на покупку веревки.

Гигант кабатчик схватил протянутую руку и сжал ее, как в тисках, с такой силой, что кровь так и брызнула из-под ногтей его жертвы на одежду присутствующих.

Поднялся дикий хохот.

– Я научу тебя, хвастунишка, разыгрывать со мной македонянина! Ведь я не какой-нибудь слабосильный перс, – было бы тебе известно! Двадцать лет я дрался на арене, не покладая рук. Недаром я получал награды из рук самого эдила в знак победы, недаром мне дали позволение успокоиться на лаврах. Неужели мне теперь выслушивать уроки от мальчишки!

С этими словами он злобно отшвырнул руку Лидона. Не дрогнув ни одним мускулом, сохранив на лице ту самую улыбку, с какой он подзадоривал трактирщика, гладиатор вынес мучительное пожатие. Но едва успел противник отпустить его руку, как он весь съежился на минуту, точно дикая кошка, при чем ошетинились волосы на его голове и бороде, и вдруг с яростным, пронзительным криком прыгнул на великана и вцепился ему в горло. Прыжок был так неожидан, что трактирщик, при своей толщине и громадном росте, потерял равновесие и тяжело грохнулся на пол с треском обрушившейся скалы, а свирепый враг навалился на него.

Нашему трактирщику, вероятно, и не понадобилась бы веревка, так любезно предложенная ему Лидоном если б он еще минуты три пробыл в этом положении. Но шум падения привлёк на арену поборщицу женщину, остававшуюся все время в одной из задних комнат. Эта новая союзница сама по себе могла бы выступить противницей гладиатора. Она была высока ростом, худа, и ее руки были, очевидно, способны не только на нежные объятия. В самом деле, кроткая подруга Бурбо-кабатчика, как и он, боролась в амфитеатре и даже в присутствии императора. Сам Бурбо – непобедимый Бурбо, как уверяют, уступал пальму первенства своей нежной Стратонике. Это прелестное создание, завидев опасность, угрожавшую ее худшей половине, тотчас же кинулась на лежавшего гладиатора без всякого оружия, кроме того, каким одарила ее природа, и, обхватив его вокруг стана своими длинными, как змеи, руками, с силой приподняла его над распростертой фигурой мужа, хотя он не выпускал из рук шеи врага¹¹. Так иногда стараются оторвать собаку, вцепившуюся в распростертого противника, приподняв ее за задние ноги: половина ее туловища, пассивная, беспомощная, высоко вздернута на воздух, тогда как другая – голова, зубы, когти – крепко впились в побежденного, растерзанного врага. Между тем гладиаторы, воспитанные, так сказать вскормленные, кровью, с восторгом толпи-

¹¹ Особы слабого пола боролись иногда в амфитеатрах, и даже некоторые женщины благородного происхождения не гнушались этим приятным развлечением.

лись вокруг сражающихся, улыбаясь, с расширенными ноздрями, жадно устремив взоры на окровавленное горло одного и на истерзанные когти другого.

– Habet! Habet! (досталось ему!) – вопили они, потирая жилистые руку.

– Non habeo! Лжецы! – проревел трактирщик и с отчаянным усилием вырвался из смертоносных клещей. Вскочив на ноги, еле дыша, окровавленный, истерзанный, он уставился помутившимися глазами на своего врага, который со сверкающим взором и оскаленными зубами отбивался теперь (но отбивался с презрением) от свирепых объятий смелой амазонки.

– Вот это честная игра! – кричали гладиаторы. – Один на один! – И, окружив Лидона и женщину, они разлучили любезного хозяина от приветливого гостя.

Но Лидон, стыдясь своего положения и тщетно пытаясь вырваться из когтей мегеры, засунул руку за пояс и вытащил короткий нож. Взор его был так грозен, а клинок так ярко блеснул, что Стратоника, привыкшая к тому роду боя, который называется кулачным, отшатнулась в испуге.

– О боги! – воскликнула она. – Какой негодяй! У него спрятано оружие! Разве это честно? Разве это благородно и достойно гладиатора? Нет, таких молодцов я презираю!

С этими словами она повернулась спиной к гладиатору и поспешила к мужу, чтобы осмотреть, в каком он положении. Но Бурбо, привычный к подобным потасовкам, как английский бульдог, сумел уже оправиться. Багровые пятна исчезли с его румяных щек, жилы пришли в нормальное состояние. Он отряхнулся с радостным рычанием, довольный, что еще жив, и, смерив взглядом своего врага с ног до головы, проговорил с одобрительным видом:

– Клянусь Кастором! – а ведь ты молодец, гораздо сильнее, чем я воображал! Я вижу, ты человек достойный, – давай руку, герой!

– Молодчина, старый Бурбо! – закричали гладиаторы. – Вот душа-человек! Дай ему руку, Лидон.

– Конечно, дам, – отвечал гладиатор, – но теперь, когда я отведал его крови, мне хочется выпить ее всю до капли.

– Клянусь Геркулесом! – возразил трактирщик. – Очень натуральное чувство для истового гладиатора. Вот что может сделать из человека хорошее воспитание! Дикий зверь и тот не бывает кровожаднее.

– Дикий зверь! Ах ты, дурачина! Да мы легко побиваем диких зверей! – воскликнул Тетред.

– Ну ладно, ладно, – проговорила Стратоника, приводя в порядок свой костюм и пригладивая всклокоченные волосы, – если вы все опять помирились, то советую вам вести себя смирно и прилично, потому что несколько молодых господ, ваших патронов, дали знать, что придут сюда навестить вас: они желают осмотреть вас на досуге, прежде чем назначить ставки на пари для предстоящего большого состязания в амфитеатрах. Они всегда приходят к нам для этой цели, так как знают, что у меня собираются лучшие гладиаторы Помпеи. У нас общество очень избранное, – благодарение богам!

– Да, – подтвердил Бурбо, выпивая чашу, или, вернее сказать, целое ведро вина, – человек, стяжавший столько лавров, как я, может принимать у себя только храбрецов. Лидон, выпей и ты, сын мой. Желаю тебе дожить до почтенной старости, как дожил я!

– Поди-ка сюда, – сказала Стратоника, любовно притягивая к себе мужа за уши – ласка, так мило описанная Тибулом.

– Тише, волчица! Ты хуже всякого гладиатора, – проворчал Бурбо.

– Ну, полно! – И она тихонько шепнула ему на ухо: – Калений только что прокрался сюда, переодетый, с черного хода; надеюсь, он принес сестерции.

– Ого! Я сейчас пойду к нему, а ты пока поглядывай за кубками – не прозевай ни одного. Не давай себя в обман, жена. Положим, они герои, но вместе с тем продувные мошенники.

– Не бойся, олух! – был нежный супружеский ответ, и Бурбо, успокоенный этим уверением, прошел через лавку и скрылся в задних комнатах.

– Итак, милые патроны придут полюбоваться нашими мускулами? – спросил Нигер. – А кто уведомил тебя об этом визите, хозяйка?

– Лепид. Он приведет с собой Клавдия, известного своими пари в Помпее, и еще молодого грека Главка.

– Не хотите ли пари о пари? – предложил Тетред. – Держу двадцать сестерций, что Клавдий будет держать пари за меня! Что ты на это скажешь, Лидон?

– Скажу, что он выберет меня! – отвечал Лидон.

– Нет, меня! – проворчал Спор.

– Дураки! Неужели вы вообразили, что он предпочтет кого-нибудь из вас Нигеру? – говорил атлет, скромно назвавший себя по имени.

– Хорошо, хорошо, – сказала Стратоника, откупоривая большую амфору для своих гостей, которые устроились вокруг одного из столиков, – вот все вы считаете себя великими людьми и силачами, – а скажите-ка лучше, кто из вас выйдет против нумидийского льва, в случае, если не найдется преступника, который стал бы оспаривать у вас эту честь?

– Раз мне удалось вырваться из твоих ручек, храбрая Стратоника, – сказал Лидон, – надеюсь, я смело могу выйти на льва.

– А скажи мне, пожалуйста, – спросил Тетред, – где та хорошенькая раба – слепая девушка с блестящими глазами? Что-то давно ее не видно.

– О, она слишком нежна для тебя, сын Нептуна¹², – отвечала хозяйка, – да и для нас даже слишком хороша, мне кажется. Мы посылаем ее в город подавать цветы и петь песни дамам: таким образом она зарабатывает нам больше денег, чем здесь, служа вам. Да и, кроме того, у нее есть еще другие занятия, но это остается в тайне.

– Другие занятия! – вмешался Нигер. – Но она еще слишком молода для других занятий.

– Молчи, животное! – крикнула Стратоника. – Ты думаешь, что уж нет других игр, кроме коринфских. Если б даже Нидия была вдвое старше, она и тогда была бы также не достойна Весты, бедняжка!

– Однако послушай, Стратоника, – сказал Лидон, – где это ты раздобыла такую нежную, кроткую рабу? Она больше годится в прислужницы какой-нибудь богатой римской матроне, чем тебе.

– Это правда, – отвечала Стратоника, – и когда-нибудь я надеюсь разбогатеть, продав ее. Ты спрашиваешь, как ко мне попала Нидия?

– Ну да.

– Вот видишь ли, моя раба Стафила... Помнишь Стафилу, Нигер?

– Как же! – такая рослая баба с большими руками и с лицом, смахивающим на комическую маску. Можно ли забыть ее, клянусь Плутоном, у которого она теперь, наверное, состоит в служанках!

– Тсс! Молчи!.. Так вот, Стафила умерла, – большая для меня потеря! И я отправилась на рынок покупать себе другую рабу. О боги! Рабы так вздорожали с тех пор, как я купила бедную Стафилу, а денег у меня было так мало, что я пришла в отчаяние и собралась уже уходить, как вдруг какой-то торговец дернул меня за платье: «Сударыня, – говорит он мне, – не хочешь ли купить рабу дешево? У меня есть девочка на продажу, – почти задаром. Правда, она мала, совсем еще ребенок, зато проворна, скромна, послушна и петь мастерица. Она хорошего происхождения, уверяю тебя». – «Откуда она родом?» – спросила я. «Из Вессалии». – А я знала, что вессалийки ловки и кротки, поэтому и согласилась посмотреть девочку. Нашла я ее почти такой же какова она теперь, немного разве меньше ростом и еще моложе на вид. Она показа-

¹² Латинское выражение, обозначающее человека буйного, свирепого.

лась мне тихой, терпеливой и стояла передо мной, скрестив руки на груди и опустив глаза. Я спросила торговца о цене. Она оказалась умеренной, и я тотчас же купила девочку. Торговец привел ее ко мне на дом, а сам мигом исчез. Ну-с, друзья мои, представьте себе мое удивление, когда я убедилась, что она слепа! Ха! Ха! Ловкий мошенник этот торговец! Я побежала к судьям, но негодяй уже скрылся из Помпеи. И вот пришлось мне вернуться домой в очень дурном настроении духа, – могу вас уверить, это отозвалось на бедной девочке. Но ведь она не виновата, что слепа, – уж такой она уродилась. Мало-помалу, однако, мы примирились со своей покупкой. Правда, девушка не была так сильна, как Стафила, и мало приносила пользы в доме, но скоро она научилась пробираться по городу так же хорошо, как будто у нее глаза Аргуса, и однажды, когда она принесла нам горсть сестерций, которые она выручила, как она уверяла, за цветы, нарванные в нашем жалком садике, мы решили, что сами боги послали ее нам. С этих пор мы позволяем ей бродить, куда ей вздумается, наполняя ее корзину цветами. Из них она плетет гирлянды по вессалийской моде, и это нравится здешним щеголям. Помпейская знать полюбила ее, платит ей за цветы гораздо дороже, чем всякой другой цветочнице, а она все деньги приносит домой, чего бы не сделала другая раба. Вот я и работаю в доме сама, но из ее заработков скоро буду иметь возможность купить себе новую Стафилу. Вероятно, вессалийский торговец украл слепую девочку у благородных родителей¹³. Кроме искусства плести венки она поет и играет на цитре, что тоже приносит деньги, а за последнее время... Но это секрет.

– Секрет! – воскликнул Лидон. – Ты, кажется, обратилась в сфинкса?

– В сфинкса? Почему в сфинкса?

– Однако полно болтать, хозяйюшка. Принеси-ка нам лучше поесть! Я голоден, – сказал Спор нетерпеливо.

– И я тоже, – отозвался угрюмый Нигер, пробуя свой нож на ладони.

Бравая амазонка отправилась на кухню и скоро вернулась с блюдом, нагруженным большими кусками полусырого мяса. В то время, как и теперь, кулачные герои считали эту пищу самой подходящей для возбуждения силы и свирепости. Они столпились вокруг стола, – мясо скоро исчезло, вино полилось рекой. Оставим пока этих важных деятелей классической жизни и последуем за Бурбо.

¹³ Вессалийские торговцы рабами были известны своим искусством похищать детей благородного происхождения и хорошего воспитания, они не щадили даже уроженцев своей родины. Аристотель горько насмехается над этим предательским народом за его жадность к наживе при помощи торговли человеческими телами.

II. Два достойных мужа

В первые времена Рима профессия жреца была почетной, но не доходной. В жреческое сословие поступали благороднейшие из граждан, плебеи же не допускались вовсе. Впоследствии, задолго до описываемой эпохи, звание жреца стало доступно всем классам общества, по крайней мере та часть профессии, которая обнимала фламигов, служивших отдельным богам. Даже жрец Юпитера (Flamen dialis), предшествующий ликторами и имеющий вход в сенат, что составляло преимущество одних патрициев, был избираем народом. Менее национальным и менее почитаемым божеством служили жрецы из плебеев, и многие выбирали эту профессию не столько из набожности, сколько по бедности или из корыстных целей. Так и Калений, жрец Исиды, был самого низкого происхождения. Его родные, хотя и не отец с матерью, были отпущенники. У них он и воспитывался, а от отца получил небольшое наследство, которое скоро прожил, и звание жреца послужило ему последним прибежищем от нищеты. Помимо жалованья, получаемого служителями священной профессии, вероятно очень незначительного в те времена, жрецы популярного храма никогда не могли пожаловаться на отсутствие выгод. Нет профессий более прибыльных, нежели те, которые рассчитаны на эксплуатацию предрассудков толпы.

У Каления остался в живых один только родственник в Помпее – Бурбо. Какие-то темные, постыдные узы соединяли их сердца и интересы крепче даже кровных уз.

Часто служитель Исиды, переодетый, потихоньку убегал от своих строгих обязанностей мнимого благочестия и проскальзывал через черный ход к бывшему гладиатору – человеку низкому и по своему ремеслу, и по своим порокам. И перед этим достойным товарищем жрец рад был сбросить маску лицемерия. Впрочем, если б не скупость, главный его порок, он был бы не в силах вынести этой личины: его грубая натура с трудом мирилась с притворной святостью.

Закутанный в широкий плащ (такие плащи вошли в моду у римлян с тех пор, как они бросили тогу), скрывавший всю его фигуру и снабженный капюшоном, опущенным на лицо, Калений уселся в маленькой каморке позади винного погреба, откуда узкий коридор вел прямо к черному ходу, какие бывали почти во всех домах Помпеи.

Против него сидел дюжий Бурбо и аккуратно пересчитывал монеты, лежавшие перед ним в кучке и только что высыпанные на стол жрецом из своего кошелька, – кошельки уже и тогда были в таком же употреблении, как теперь, с той только разницей, что в тогдашние времена они бывали в большинстве случаев туго набиты.

– Как видишь, – сказал Калений, – мы платим тебе щедро и ты должен быть мне благодарен, что доставил тебе такое выгодное дельце.

– Да я и то благодарен, братец, – ласково отвечал Бурбо, сгребая монеты в кожаный кошель, который заткнул за пояс, потуже обыкновенного затянув пряжки вокруг своей обемистой талии. – Клянусь Исидой, Писидой или Нисидой – и прочими богами, какие там есть в Египте, – моя маленькая Нидия для меня просто сад гесперид, сущее золотое дно!

– Она хорошо поет и играет, как муза, – отвечал Калений, – а за такие таланты всегда щедро платит то лицо, поручения которого я исполняю.

– Он божество! – воскликнул Бурбо восторженно. – Всякий великодушный богач заслуживает поклонения. Однако выпей кубок вина, старый дружище, и порасскажи мне хоть немножко, в чем суть. Что она там делает? Она перепугана, ссылается на свою клятву и ничего не хочет открыть нам.

– И не откроет, клянусь своей правой рукой! Ведь и я тоже произнес страшную клятву соблюдать тайну.

– Клятву! Что такое клятвы для таких людей, как мы!

– Обыкновенные клятвы, пожалуй, но эта!.. – И жрец невольно вздрогнул. – Однако, – продолжал он, опорожня огромный кубок неразбавленного вина, – однако признаюсь тебе, что мне клятва! Главное, я боюсь мести того, кто потребовал ее от меня. Клянусь богами, – это могущественный чародей, – он сумел бы выпытать мою тайну от самой луны, если бы мне вздумалось довериться ей. Не будем говорить об этом. Клянусь Поллуксом! Как ни упоительны его пиры, а мне там как-то не по себе. То ли дело провести часок с тобою, друг любезный, и с теми простыми, незатейливыми девушками, которых я встречаю в этой комнате, – хоть она и прокопчена дымом. Один такой час я предпочитаю целой ночи его роскошного разврата.

– Когда так, завтра же, если угодно богам, мы устроим здесь хорошенькую пирушку!

– Согласен от всей души! – отвечал жрец, потирая руки и поближе придвигаясь к столу.

В эту минуту они услышали легкий стук, как будто кто-то нащупывал ручку двери. Жрец надвинул капюшон на лицо.

– Не бойся, это слепая, – проговорил хозяин.

Нидия отворила дверь и вошла в комнату.

– А, девочка! Ну что, как поживаешь? Немного бледна... Видно, поздно засиживаешься по ночам? Не беда, известное дело – молодость! – обратился к ней Бурбо ласковым тоном.

Девушка не отвечала, но в изнеможении опустилась на одну из лавок. Краска то являлась, то исчезала на ее щеках. Она нетерпеливо била об пол своими маленькими ножками, затем вдруг подняла голову и заговорила с решимостью:

– Хозяин, делай надо мной что хочешь: мори меня голодом, бей, угрожай мне смертью, а я больше не пойду в этот нечестивый притон!

– Как ты смеешь, дура непокорная! – крикнул Бурбо диким голосом, его широкие брови мрачно насупились над свирепыми, налитыми кровью, глазами. – Смотри у меня, берегись!

– Сказала – не пойду! – отвечала бедная девушка, скрестив руки на груди.

– Итак, скромница, кроткая весталка, ты не пойдешь? Хорошо же, тебя потащат силой!

– Я весь город подыму своими криками, – возразила она страстно, и яркий румянец залил ее лицо.

– И насчет этого мы примем меры – тебе заткнут глотку.

– В таком случае! – да сжальтесь надо мной боги! Я прибегну к суду!

– Помни твою клятву! – произнес глухой голос. Калений в первый раз вмешался в разговор.

При этих словах несчастная девушка затряслась всем телом и с мольбою заломила руки. «Ах, я несчастная!» – воскликнула она и громко зарыдала.

Может быть, шум этого неутешного горя или что другое привлекло прелестную Стратонику, но в эту самую минуту ее страшная фигура появилась на пороге.

– Ну, что там такое? Что ты сделал моей рабе? – сердито спросила она Бурбо.

– Успокойся, жена, – отвечал тот полусердитым, полуробким тоном, – тебе ведь нужны новые пояса, красивые платья, не так ли? В таком случае смотри в оба за своей работой, а то долго не дождешься обновок. *Vae capiti tuo* – месть на твою голову, несчастная.

– Да что такое случилось? – проговорила ведьма, вопросительно окидывая глазами то того, то другого.

Нидия порывистым движением вдруг отделилась от стены, к которой прислонилась. Она бросилась к ногам Стратоники, обнимала ее колени, устремив на нее свои незрячие, трогательные глаза.

– О, госпожа моя! – рыдала бедняжка. – Ты женщина, у тебя были сестры, сама ты была молода, как я, – вступишь за меня, спаси меня! Я больше не пойду на эти ужасные пиры!

– Вздор! – воскликнула ведьма, грубо схватила ее за нежные руки, созданные не для грубой работы, а для плетения венков. – Вздор, все эти возвышенные чувства не к лицу рабам!

– Послушай-ка, – сказал Бурбо, вытаскивая кошелек и позвякивая монетами, – ведь хороша музыка, жена! Клянусь Поллуксом, если ты не сумеешь обуздать этого ребенка, так больше и не услышишь этой музыки!

– Девочка просто устала, – проговорила Стратоника, кивнув Калению, – она будет более послушна в другой раз, когда она вам понадобится.

– Вам... Вам! Кто же здесь? – крикнула Нидия и окинула глазами комнату с таким страшным, напряженным выражением, что Калений в тревоге вскочил со стула.

– С такими глазами она должна видеть! – пробормотал он.

– Кто это здесь? Скажите, во имя неба! Ах, если были бы слепы, как я, вы не были бы так жестоки, – промолвила она и снова залилась слезами.

– Убери ее отсюда, – воскликнул Бурбо с досадой, – терпеть не могу хныканья.

– Пойдем, – сказала Стратоника, толкая бедную девочку за плечи.

Нидия откинулась в сторону с решительным видом, полным достоинства.

– Послушай, – молвила она, – я служила тебе верой и правдой, – я, которая была воспитана... О, мать моя! Бедная мать! Снилось ли тебе когда-нибудь, что я дойду до этого? – Она отерла слезу и продолжала: – Прикажи мне все, что угодно, и я буду повиноваться, но я говорю тебе прямо, зная, как ты жестока, сурова, неумолима, говорю тебе, что я туда больше не вернусь, а если меня заставят идти туда силой, я буду молить пощады у самого претора, – вот мое последнее слово. Услышьте меня, о боги, – клянусь, это будет так!

Глаза ведьмы загорелись злобой. Одной рукой она схватила девочку за волосы, другой – высоко замахнулась над нею – этой грозной правой рукой, которая одним ударом могла раздавить нежную, хрупкую фигуру, дрожавшую в ее тисках. Но, вероятно, эта мысль поразила ее саму, – она отвела занесенную руку, изменила свое намерение и, дотавив Нидию до стены, сдернула с крючка веревку, увы! уже не раз служившую ей для той же цели, и через минуту пронзительные, раздражающие вопли слепой девушки огласили весь дом.

III. Главк делает приобретение, которое впоследствии обходится ему дорого

– Здорово, молодцы! – проговорил Лепид, нагнув голову, чтобы войти в низенькую дверь дома Бурбо. – Мы пришли взглянуть, кто из вас сделает больше чести вашей ланисте.

Гладиаторы почтительно встали из-за стола при появлении трех щеголей, известных как самые веселые и богатые среди помпейской молодежи, и голоса которых имели большое значение для репутации бойцов амфитеатра.

– Какие славные животные! – молвил Клавдий Главку. – Они достойны быть гладиаторами.

– Жаль, что они не воины, – возразил Главк.

Странно было видеть изящного, прихотливого Лепида, который боялся и сколько-нибудь резкого луча света, и малейшего дуновения ветерка, Лепида, в котором природа как будто спутала и извратила все естественные чувства, сделав из него какое-то сомнительное существо, изнеженное и искусственное, странно было видеть этого Лепида, теперь вдруг ожившего, полного энергии. Своей бледной, девичьей рукой он трепал гладиаторов по широким плечам, жеманно щупал их могучие, железные мускулы и, казалось, с восхищением любовался этой силой, которую всю жизнь старался уничтожить в самом себе.

Так и в наше время мы видим безбородых франтов лондонских салонов, толпящихся вокруг героев кулачного боя: точно так же они любят, восхищаются, налаживают свои пари. Так и теперь мы видим, как сходятся две крайности цивилизованного общества – патроны удовольствий и их рабы – подлейшие из всех рабов, – свирепые, и в то же время продажные, – мужчины хуже проституток, торгующие своей силой, как женщины своей красотой, сущие животные, но еще более низкие по своим побуждениям, так как последние, по крайней мере, не дают себя калечить за деньги!

– Ну, Гинер, как ты будешь бороться и с кем?

– Меня вызвал Спор, – отвечал сумрачный великан, – и надеюсь, это будет бой на смерть.

– О, разумеется, – проворчал Спор, прищулив свои маленькие глазки.

– Он берет саблю, а я сеть и трезубец. Редкостное будет состязание. Надеюсь, тот, кто останется в живых, получит достаточно для поддержания достоинства короны.

– Не беспокойся, мы наполним твой кошелек, мой Гектор, – сказал Клавдий, – постой, ты дерешься с Нигером? Главк, не хочешь ли пари? Я держу на Нигера.

– Ну, что я говорил! – воскликнул Нигер торжествующим тоном. – Благородный Клавдий меня знает. Пиши пропало, Спор!

Клавдий вынул свои таблички.

– Пари на десять сестерций. Идет?

– Согласен, – отвечал Главк. – Но дай сперва рассмотреть, кто у нас тут? В первый раз вижу этого героя. – И он указал на Лидона, сложение которого было более нежное и тонкое, нежели у товарищей. Что-то изящное и даже благородное сквозило в чертах его лица. Очевидно, он еще не успел огрубеть в своей профессии.

– Это Лидон, юнец, до сих пор практиковавшийся только на деревянных мечях, – объяснил Нигер снисходительно. – Но в его жилах течет хорошая кровь, он уже вызвал Тетреда.

– Это он вызвал меня, а я только принял вызов, – возразил Лидон.

– А как будете вы драться? – спросил Лепид. – Смотри, малый, не рано ли тебе состязаться с Тетредом?

Лидон презрительно усмехнулся.

– А что, он свободный гражданин или раб? – осведомился Клавдий.

– Гражданин – все мы граждане, – отвечал Нигер.

– Вытяни руку, Лидон, – сказал Лепид с видом знатока.

Гладиатор, бросив многозначительный взгляд на товарищей, вытянул руку, которая хотя и не поражала громадностью размеров, как у других, зато отличалась такими твердыми мускулами и была так красива, симметрична в своих пропорциях, что все трое посетителей ахнули от восхищения.

– Отлично! Молодец! Какое же твое оружие? – спросил Клавдий, не выпуская из рук своих табличек.

– Сперва мы будем драться на шестах, а потом на мечях, если оба останемся в живых, – резко отвечал Тетред, нахмурившись от зависти.

– На шестах, – воскликнул Главк, – напрасно, Лидон, это греческий способ, я хорошо его знаю. Для этого тебе надо бы сперва потолстеть, ты слишком худ – избегай железной перчатки.

– Не могу, – отвечал Лидон.

– Почему же?

– Я уже согласился, потому что он сделал мне вызов.

– Но он не принуждает тебя принять выбранное им оружие?

– Моя честь принуждает меня! – промолвил Лидон гордо.

– Держу за Тетреда, два против одного, на шестах, – предложил Клавдий, – согласен, Лепид?

– Если бы ты даже предложил мне три против одного и тогда я бы не согласился, – отвечал Лепид. – Лиону несдобровать. Ты очень любезен.

– А ты, Главк, что на это скажешь? – обратился к нему Клавдий.

– Я согласен, три против одного.

– Десять сестерций¹⁴ против тридцати?

– Идет.

Клавдий записал пари на своих табличках.

– Извини меня, благородный покровитель, – тихо проговорил Лидон, обращаясь к Главку, – как ты полагаешь, сколько достанется победителю?

– Сколько? Да, может быть, сестерций семь.

– Так много! Ты уверен?

– По крайней мере, семь. Но как тебе не стыдно! Грек, наверное, думал бы о славе, а не о деньгах. О, итальянцы! Всюду вы одни и те же.

Румянец выступил на смуглых щеках гладиатора.

– Не суди обо мне дурно, благородный Главк. Я думаю и о том, и о другом, но если бы не деньги, я никогда не был бы гладиатором.

– Низкий человек! Желаю тебе пасть на арене. Скряга никогда еще не был героем.

– Я не скряга, – возразил Лидон надменно и отошел в дальний угол.

– Однако я не вижу Бурбо, куда девался Бурбо? Мне надо с ним поговорить, – воскликнул Клавдий.

– Он там, – отвечал Нигер, указывая на дверь, ведущую в задние комнаты.

– А Стратоника, наша храбрая старушка, где она? – осведомился Лепид.

– Да она была здесь только что, перед вашим приходом, но услышала что-то такое, что ей не понравилось, и исчезла. Клянусь Поллуксом! Бурбо, вероятно, беседовал с какой-нибудь девушкой в задней комнате. Я слышал женские крики, а старуха ревнива, как Юнона.

– Ого, чудесно! – засмеялся Лепид. – Пойдем, Клавдий, поделимся с Юпитером, – может быть, он подцепил новую Леду!

В эту минуту громкий крик, полный ужаса и страдания, заставил всех вздрогнуть.

¹⁴ Не надо смешивать два денежных знака у римлян: sestertium и sestericius. Первый, представляющий собой сумму, а не монету, в тысячу раз больше sestericius'a.

– О! Сжался надо мной! Я еще ребенок, я слепа, и без того я достаточно наказана судьбою!

– О Паллада! Знакомый голос – это моя бедная цветочница! – воскликнул Главк и немедленно бросился в ту сторону, откуда раздавались крики.

Он распахнул дверь и увидел Нидию, отбивавшуюся от разъяренной мегеры. Веревка, уже обагренная кровью, взвилась на воздух и вдруг опустилась...

– Фурия! – воскликнул Главк и левой рукой вырвал Нидию из ее когтей. – Как ты смеешь так обращаться с девушкой, с существом твоего же пола, с ребенком! Моя Нидия, мое бедное дитя!

– О, это ты! Это Главк! – воскликнула цветочница с выражением почти восторга. Слезы застыли на ее щеках. Она улыбалась, прижимаясь к его груди, целовала его одежду...

– А как смеешь ты, дерзкий незнакомец, становиться между свободной женщиной и ее собственной рабыней! Клянусь богами! Несмотря на то что ты наряжен в богатую тунуку и что от тебя разит духами, сомневаюсь, чтобы ты был римским гражданином, – картонная кукла!

– Полегче, хозяйка, полегче! – вмешался Клавдий, входя в комнату вместе с Лепидом. – Это мой друг, все равно, что брат родной: его надо оградить от твоего язычка, моя голубка, – с него камни сыплются!

– Отдай мне мою рабыню, – вопила мегера, схватив грека за грудь своей могучей дланью.

– Не отдам, хотя бы к тебе пришли на помощь все твои сестры фурии! – отвечал Главк. – Не бойся, милая Нидия, афинянин никогда не покидал несчастных.

– Полноте! – воскликнул Бурбо, неохотно вставая. – Столько шуму из-за какой-то рабыни? Оставь в покое молодого господина, жена, уж так и быть, ему в угоду на этот раз простим дерзкую девчонку.

С этими словами он отшел или, вернее, оттащил прочь свою свирепую подругу.

– Мне показалось, когда мы вошли, тут был еще какой-то человек, – заметил Клавдий

– Он ушел.

Действительно, жрец Исиды смекнул, что ему давно пора убраться.

– О, это один приятель! Собутыльник... Малый смирный, не охотник до передраг, – отвечал Бурбо небрежно. – Однако ступай, дитя мое, ты разорвешь тунуку этому господину, если будешь так на ней виснуть. Ступай, тебя простили.

– О, не оставляй меня, не оставляй! – вскричала Нидия, еще крепче прижимаясь к афинянину.

Тронутый ее беззащитным положением, ее обращением к его состраданию, точно так же как и ее невыразимой, трогательной грацией, грек сел на один из стульев и привлек Нидию к себе на колени. Он вытирал кровь с ее плеч своими длинными кудрями, поцелуями осушал слезы на ее щеках, шептал ей ласковые, нежные слова, какими обыкновенно утешают детское горе. Он был так хорош в роли кроткого утешителя, что даже тронул сердце свирепой Стратоники. Присутствие его как бы осветило этот гнусный, позорный притон. Молодой, красивый, блестящий, воплощение совершенного счастья на земле, он утешал несчастное существо, покинутое, отверженное всеми!

– Кто бы мог подумать, что на долю нашей Нидии выпадет такая честь? – проговорила мегера, вытирая вспотевший лоб.

Главк обратился к трактирщику:

– Любезный Бурбо, это твоя раба – она хорошо поет, она привыкла ухаживать за цветами. Такую точно рабу мне хотелось бы подарить одной даме. Продай мне ее!

При этих словах бедная девушка задрожала всем телом от восторга. Она вскочила, откинула от лица свои разметавшиеся кудри, пугливо озираясь кругом, как будто могла что-нибудь видеть.

– Продать нашу Нидию! Ну нет, ни за что! – угрюмо отозвалась Стратоника.

Нидия с тяжелым вздохом опустилась к ногам Главка и снова уцепилась за край его одежды.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.